

The book cover features a central white rectangular area with a textured, paper-like surface. This area is framed by a dark, intricate illustration of a dense cityscape, possibly a historical European town, with numerous buildings and a prominent dome at the bottom center. A small silhouette of a person in a coat stands at the top of the white area, with a dashed line leading from them down towards the text.

Аркадий
Драгомощенко

Расположение
в домах
и деревьях

Р О М А Н

Аркадий Трофимович Драгомощенко
Расположение в
домах и деревьях
Серия «Лаборатория»

Текст предоставлен издательством

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=43287319

Расположение в домах и деревьях: РИПОЛ классик; Москва; 2019

ISBN 978-5-386-12320-8

Аннотация

Роман Аркадия Трофимовича Драгомощенко (1946-2012) – поэта, прозаика, переводчика, активного участника ленинградского самиздата, члена редколлегии машинописного журнала «Часы», одного из организаторов независимого литературного «Клуба-81», лауреата Премии Андрея Белого (1978).

Содержание

1	5
2	12
3	20
4	27
5	32
6	38
7	42
8	48
9	55
10	59
11	69
12	72
13	84
14	93
15	99
16	106
17	112
18	122
19	129
20	137
Конец ознакомительного фрагмента.	143

Аркадий Драгомощенко

Расположение в домах и деревьях

© Драгомощенко А. Т., наследники, 2019

© Оформление. ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2019

1

Заканчивая эту, во многом запутанную, неясную для меня и других историю, выбирая из множества известных мне концов наиболее скучный, способный своей привычной и необременительной скудостью разрешить, а правильное – завершить вереницу полуслучайных, полудействительных событий, кажущихся мне теперь столь одряхлевшими, что от дыхания, от вздоха рассыплются в прах – я задумался над необыкновенно простым вопросом: а как это было?

Нет, не будем, нет-нет, не будем говорить о памяти. Сказано о ней всё. Согласитесь, что слишком плохой она свидетель, чересчур правдивый. Да осенит нас ложь, не ведающая в существовании своём ни конца, ни края.

О, какой соблазн, не скупясь на слова и время, вести себя по фальшивым тропам предварения, как бы достоверностью облекая то, что потом камнем ляжет. Камень и останется камнем, и этим он мил мне.

Какое искушение – ровным, ничего не значащим тоном излагать историю от третьего лица! – а меня вот нет, не было никогда – второго, четвёртого, десятого лица, от капли, упавшей на раскрытую ладонь, от ракушки, впившейся в кору воды, – не я всё это, не обо мне речь, с кем-то, кто-то, у кого-то...

В самом деле, когда я начал думать о том, что впоследствии само по себе возникло, помимо моей воли, явилось, словно было задолго до меня, до моих намерений? Действительно, когда это я, не обладая ни особым рвением, ни даром, двинулся в столь сомнительное путешествие как повествование, только предошущая при этом дальнейшее, о котором уже не знаю как и думать: случайно ли оно и нелепо или, напротив, закономерно и прекрасно, и которое само, по окончании некоторого времени, становилось в ряд условий неустанного движения на месте. Кто не мечтал о побеге!

Почему на месте?

Мы уходили и возвращались, и когда возвращались, камня на камне не оставалось от прежних времён. Это ли не свидетельство движения!

Нет, видно, всё зависит от остроты зрения. Иным необходимы месяцы, другим хватает длительности... ну, скажем, крикни – легко, не натужно вскрикни, как будто от изумления – так этого времени хватит, чтобы въяве увидеть пустоши на земле благодатных садов (густое чёрное вино запустения вспенится, древнейший хмель гнили чудными соцветиями покроеет прошлое), а есть и третьи, у которых это зрение абсолютно, для которых и плод от рождения несёт в себе зародыш смерти, и зачарованно взирают они на её безмолвно расправленные в заповедных глубинах крыла... Ветряные мельницы, осень, путники, ощупывающие радост-

ными голубоватыми ступнями выступающий мел, золотой огонь воды... Они и в лике ангельском обречены тень видеть. Неуютны всевышнему они. Точно две неких линии, не сливаясь, движутся – для последних. Тогда и время не река, не поток, но паутиной разрастается, оплетая ветви космоса... (кристалл).

Вот какой вопрос в наготе и простоте явился мне: почему именно тогда мне пришло на ум рассказывать всю эту вздорную историю, не обещавшую ничего, кроме смятения и усталости, той неодолимой усталости, что переполняет человека после любого бесполезного дела. Почему я предпринял попытку, заранее обречённую на неудачу? Я не собирался писать историю чьей-то жизни.

После слова «неудача» меня, бесспорно, и выслушивать никто не захочет. Мало ли таких попыток! Мало ли историй поведано нам, в которых разобраться стоит немало труда, а когда разберёшься что к чему, плюнешь с досады – до того ничтожно всё. Не откровения ли ждём от рассказчика? Не просветления ли ожидаем, когда изматывает он нас прихотливым нагромождением вымысла и привычного? Не учениками ли покорно восседаем перед тем, кто повествует?

Учеником у самого себя сидеть тридцать, сто лет. Можно больше, можно меньше.

Учитель, ответь мне – у этих ли окон я был? Так ли

они были раскрыты? И стоял ли тогда гранёный стакан на подоконнике, наклонённый слегка набок, – считывающий неровности подоконника – и в нём пузырьки налипли по краям внутри и вода чуть скошена, так как стакан стоит на бугристом от бесчисленных слоёв краски подоконнике – полупрозрачный, сумрачный, темнее воздуха. Стекло раньше чувствует наступление ночи.

Был ли я тогда, три-четыре года тому назад, влюблён? Не помню. Но, случилось тогда нечто из ряда вон выходящее. Вероятно, потому впервые я и ощутил способность сопоставлять одно с другим. Однако при чём здесь любовь? Непонятно...

Это всегда приходит неожиданно. И вдруг всё связано между собой, находится в равновесии, точно пласт дёрна срезан и перевернут. Нескончаемое плетение. Да?

Нет. И не будем обращаться к памяти. Я уверился в ложности самых достоверных воспоминаний. Что вчера было – того сегодня нет. Было ли оно вчера?

Кажется, в ту пору, когда писалась эта история (которую теперь мне бы хотелось подсунуть кому-нибудь и поглядеть, что из этого выйдет), у меня накопилось довольно много разных клочков бумаги, листков из записной книжки со всевозможными замечаниями, имевшими единственную цель, – вывести мельчайший факт в настоящее, лишить его прошло-

го, угасания: так угасает медная монета, брошенная в воду. Точно по ступеням, по изломам света, в пластах прозрачнейших влаги ускользает монета в темень, выпущенная из ладони в самую прозрачную темень, какую можно себе вообразить. Я говорю о замечаниях на клочках бумаги, потому что они показались мне тем дерновым пластом, когда связанность впервые потрясает однообразием, монотонностью.

Говорю разве о памяти? Ну, нет, конечно, нет! О равновесии...

И окно то же. И дождь накрапывает, может быть, как тогда, до моего возвращения. Не угадать разницу между дождями. Но почему же говорю – что было вчера, того сегодня нет? Какое это имеет значение!

И стакан на подоконнике тот же, наполненный водой и скошенный в сторону. Тогда я, очевидно, думал и о стакане, и о дожде, и об окне думал, и об остальном. Думал и смотрел точно так же: окно, дождь – сама вечность, если не обращать внимания на строгие стены скоротечных осенних пейзажей, лица, мелькающие в его нитях; если не думать о предстоящем вечере, слепом вечере-поводыре, если не думать о временах года, которые никак не хотят следовать друг за другом в положенном им порядке, но сопрягаются самым немыслимым способом – осень идёт за осенью (что несёт она нам?), за которой начинается ещё одна, и потом вдруг и надолго, навсегда вспыхивает лето.

Навсегда и надолго, обрываемое иногда не то снегом, не то сном, проносащим у изголовья смех, не то пеплом от бледного огня, и рыбы кричат, маясь в иссыхающих корнях облаков, бросаются на берег, а над головой облачко раскалённого жара, подобно бесцветной ртути, тяжело рвётся к лазури.

Незыблем мир в отражениях и вещах – вот она, симметрия сна – неодолимо постоянство зрения, прилепившегося беспомощно к трём, пяти, десяти цветным пятнам, – ещё до рождения в сияющем слепом тумане мерцали они, – к двум, трём отголоскам, сочетания их потом тщетно слухом уловить хочешь во вселенной слов, где каждое дразнит. И не вздумай подходить к берегу, слышишь? – влечёт, манит, чтобы вдруг воззриться на тебя пустым провалом.

И вот вечер, скатерть в коричневую клетку, рассыпанные страницы покорной бумаги, отмеченные не то любовью, не то скукой. И есть ли дело нам до прошлого и будущего! В сторону, в сторону...

Но я говорил не так. Подозреваю, слова следовали в ином порядке, и мир беспрекословно следовал словам, а не молчанию, следовал, опаздывая на тончайшую долю мгновения, – как я люблю это слово! Я вытатуировал его на запястье Сони, моей далёкой сестры, о которой, может, расскажу, если сочту нужным.

И на своём запястье я вытатуировал слово *мгновение* и обозначалось оно так:.....

Этим словом, можно сказать, определена вся моя жизнь. Жизнь многих определена этим словом. Иной раз произносят: вечность, но, разумеется, имеют в виду всё то же мгновение. Какова его продолжительность? Как оно выглядит? Животворно ли оно? Или справедливей уподобить его чуме?

Всё лежит в области предположений, думал я, подыскивая для этой истории подходящий, убедительный во всех отношениях конец, когда добродетель торжествует, а зло, тайное и явное, предаётся суду.

Тут я хочу остановиться, так как именно тут начинается сама история, к которой и я имел отношение некоторым образом – все мы родились в Аркадии.

2

Поздним вечером я сидел на стуле и грыз ноготь. В квартире никого не было. Тут и летний сезон – дачи, вино, белые ночи, тихое страстное безумие, посещающее нас каждый год, и многое другое. Зазвонил телефон. Я не подошёл. Из печи тянуло гарью. Телефон зазвонил ещё. И на этот раз я не подошёл. По забывчивости кто-то не закрыл вьюшку в печи, и потому тянуло гарью.

Нельзя было сказать, что час стоял очень поздний. Я у стены сидел. На стуле. Снизу к стулу приклеен с давних пор сиреневый ярлык: ЯКОВ и ИОСИФ-КОНТ. Летом в квартире никого не бывает. Так мне говорили. Тогда почему телефон? Не подходи к телефону, сказал я себе, пускай тот, кому надо, подходит. Да, неожиданно согласился я с собой, пустое это. Из печи тянуло гарью. Мы топили печь. Делать было нечего по вечерам... ну, и топили. Сидели у огня и смотрели на огонь. Огонь, наверное, очень изменял нас, потому что мы не узнавали себя, когда отводили глаза от огня. Огонь был красным, жёлтым и под конец лазурным. Я был пьян, но не настолько, чтобы падать лицом в стену и засыпать стоя.

В десять утра я проснулся от стука. Кто-то не уехал на дачу. Вот тот, кто не уехал на дачу, и постучал. Это ему вечером звонили, а он не подошёл, решил я спокойно.

Начинало болеть сердце. Не стану задерживаться на длительном и выматывающем ритуале пробуждения. Скажу только, что, когда открываю глаза, сразу вижу окно. То самое, на котором потом стакан, пузырьки по граням, симметрия, луч и прочее. В окне стена. На стене голуби. Я боюсь голубей, потому что ненавижу их. Иногда я ненавижу себя, но не боюсь.

Я подошёл к двери, открыл. За дверью стоял приятель.

– Ах, это ты, – сказал я. – Мне показалось, что соседи...

– Ты боишься соседей? – с подозрением в голосе спросил он.

– Не знаю, – ответил я. – Как сказать... иногда, кажется, не боюсь.

– Одевайся, – коротко сказал он. – Пойдём.

– Да, да... – спасибо, что разбудил. У меня много дел.

В одиннадцать мы брели по солнечной стороне на Васильевский остров. Там мы хотели выпить вермута. Пить утром вермут на острове казалось нам верхом изящества.

Когда же я оказался дома верхом на венском стуле? Я сидел на стуле. Верно... Ещё два слова мелькнули у меня в голове. Телефон зазвонил. С омерзением я взглянул на телефон, который на глазах принял форму желтоватого яйца. Два слова мелькнули у меня в голове.

Первым словом стояло – *отец*. Почему? Из телефона по-

несло зимней гарью, а потом просочился тонкий дымок любви. Мы вытаскиваем иглу, отираем осторожно её пальцами, кладём на стол – мешает – в любой момент так можно избавиться от боли в сердце: нащупать ногтями кончик иглы, её ушко, вытащить и всадить в стол.

Почему отец? Не знаю. Совсем забыл сказать, что из печки несло гарью. Кафель, слепые зеркала. Почему отец, спрашивается?!

Вторым словом вышло – *патриарх*. Ага, вот оно что! Полковник, полковник!

«Полковник» – это, по-моему, недалеко от смерти. И, нетвёрдо сжимая карандаш в пальцах, я записал:

отец мой и в самом деле был полковником.

Но я говорил не так, я хотел сказать по-другому. О, дайте мне второе и третье лицо, чтобы я говорил не так.

У моего отца было одно лицо – первое и последнее. Он был полковником. Я не выдумываю. Это сущая правда. Ничего не поделаешь! Конечно, трудно отыскать сходство между отцом и мной. Где уж там! Хотя, как сейчас помню, поговаривали родственники, что буду, дескать, вылитый отец.

Он – полковник. Герой, и танки наши быстры. Вся грудь в крестах. Орёл-мужчина. Он повидал на своём веку всё, что нужно повидать мужчине. Его любили женщины и дети. Он жил в лучезарные времена Империи, а также жил и в чёрные её времена. Он глядел смерти в лицо. Она не отворачивалась от него. На одном снимке, относящемся ко

времени освобождения из тюрьмы, он запечатлён вместе с ней. Взгляд строг, открыт, ясен. В глазах читается принципиальность, светится недюжинный разум. Лицо являет образец мужества, принципиальности и веры.

А я? Насколько несуразен я! Какой близорукостью нужно страдать, чтобы угадать во мне качества, перечисленные выше. Если не в тягость, попробуем взглянуть на меня со стороны. Предположим, вы меня совсем не знаете и встречаете меня впервые после десяти утра где-нибудь, ну, скажем, не в публичной библиотеке, атак... на лоне природы, у пивного ларька. Обратите внимание, с какой изысканной непринуждённостью, склоняясь изящно к кружке, я сдуваю пену. Смотрите, смотрите, как летит она по ветру... Послушайте – возможно, услышите шорох, с которым она падает на асфальт и расплзается в гнусное радужное пятно. В эти минуты я сентиментален, будто смотрю фильм, где кто-то с кем-то прощается, и причал, и чайки низко над водой, и высокое небо, и океанский лайнер отодвигается в бирюзовые дали. В эти минуты, прищурив глаз, наблюдая за пеной, плывущей к серому летнему асфальту, я позволяю себе лёгкую мечту о десяти рублях, обнаруженных невзначай за подкладкой зимнего пальто.

Утреннее пиво, утренние мечты. Утром приходит к нам любовь, и Шива закрывает солнцем свой глаз... Утром приходит к нам страстная дама похмелья. Как бы воспеть эти

дивные часы! Пивную пену, мечты, утро, самого себя...

Не нужно быть изощрённым психологом, чтобы определить степень моей никчёмности и лени. Лень моя абсолютна.

Я тощ, сутул, в глазах моих при желании можно прочесть лишь одно: напиться за чужой счёт и бухнуться спать. Можно и одному для разнообразия. Но я так привык к этим «о чём ты думаешь?» – «почему ты молчишь?» – «я тебя поцелую», что позволяю себе разнообразие крайне редко. В довершение ко всему сообщу, что я лжив непомерно и не являю собой образца непреклонности и честности. Не являл я упомянутых образцов и в более юные годы. А в незапамятные времена, когда по первому требованию родителей декламируем: «какой русский не любит быстрой езды», справедливости ради не премину заметить, что художественным чтением известного стихотворения «цветок засохший, безуханный» бывало исторгал вздохи у гостей, а однажды исторг слезу у маминого поклонника, но папа, как всегда, испортил песню, поднял значительно бровь и не дал мне насладиться триумфом.

Проницательная Елизавета Густавовна Бэр, семидесятилетняя соседка с сумасшедшей судьбой, изрекла, что кончу я, мол, под забором и что я в свои шесть лет ни много, ни мало – отъявленный негодяй. Безо всякого труда и нравственных колебаний, без угрызений совести я ухнул в бездну порока головой вниз.

Уж не помню точно когда, мой приятель (у каждого в детстве был такой приятель, друг сердечный, гуру), попросил украсть у родителей денег. Ему необходимо было купить часть велосипеда, чтобы обменять эту часть на «лейку» без объектива, которую он должен был отдать одному внушающему доверие человеку за обойму к автомату МП-40 плюс парабеллум армейского образца со спиленным бойком, а затем отдать и парабеллум и обойму в обмен на морской бинокль с одним целым и одним разбитым окуляром. Для чего ему нужен был бинокль? Для поездки в Ялту, куда собирались ехать его родители. А в Ялте, как известно, существуют пляжи отдельно для мужчин и отдельно для женщин, где они, надо думать, разгуливают не в вечерних туалетах. Зная это по рассказам, понаслышке, мой друг желал, вооружившись цейсовской оптикой, начать знакомство с полями Эдема с расстояния наиболее короткого.

Заранее скажу, чтобы не возвращаться, своей цели он достиг. Был в Ялте. Там впрямь оказались такие пляжи. Смотрел с горы в бинокль. Подолгу. Рассказывал с воодушевлением, жестикулируя. По пляжу – рассказывал – действительно ходили женщины, некоторые лежали и, что характерно, – были поголовно голыми. Больше всего его поразило обилие волос на животах. Оптический эффект, думается мне...

Сказать, что меня в ту пору волновали планы моего приятеля, не скажу, но украсть деньги! Украсть у папы из толсто-

го бумажника, когда он спит в кресле, утомлённый обедом, опутанный звоном полуденной мухи! Кому не понять порывов детской души! Об этом ещё Достоевский писал. Однако в последний момент я изменил решение и выбрал другой источник: Елизавету Густавовну Бэр и решил идти к ней. Я пришёл к ней, когда солнце уходило к реке, а лиловые тени акаций легли в палисадник. Сырость, поднимавшаяся с земли, напоминала о долгих дождях, ливших в августе.

Германский дух в виде чьей-то посмертной маски медленно выцветал на фотографии. Аромат флоксов, вонь кошек и валерьянки на миг обволокли моё юное существо колдовской пеленой и, потупив глаза, голосом мальчика-скрипача, её любимца, я попросил от имени мамы нужную сумму. Ма-мочка, сказал я, просила передать, что если вас не затруднит... одолжить... потому что... отец не пришёл... ехать.

– Дитя моё, – поворачивая ко мне голову, молвила она, – я, право, затрудняюсь... Ребёнку давать деньги! Непедагогично... Детям неприлично держать деньги, это дело взрослых, малыш. Не такли? – спросила она. – Ну-с, сколько там просила наша мамочка? Десять рублей? Куда же она собралась? Я её сегодня утром видела на рынке... Нет, нет и нет! Куда такое годится!

Так или иначе, но сумма была взята, а обман раскрыт на следующий день. И ко всем своим титулам я прибавил отъявленного мерзавца, способного кончить под забором.

Ну, а потом на меня рукой махнули. Не сразу, конечно, позже. Признаться, и я махнул рукой. Распрощались. Разошлись, как в море корабли. Машем, машем руками, покуда не тают в редком тумане очертания берега. До свидания, до свидания!

Машем, машем руками... размахиваем до одури, забывая друг друга. Не это ли прекрасно, Постум?

3

Уподобим руки знамёнам герцога Кентерберийского, властелина дождя, повелителя лени. Существует бесчисленное множество версий о его рождении. Раз за разом исследователи вынуждены отвергать неудержимо возникающие новые гипотезы, ещё более вздорные и бессмысленные, нежели прежние. Не дано нам знать о его рождении ничего.

Так уподобим руки знамёнам герцога Кентерберийского, гадкого пьяницы-старикашки, моего старинного друга, покровителя бездельников и лгунов!

Во имя Неправды реют над нами дырявые знамёна лени и нескончаемых бесед. Но уговоримся сразу же – ни слова о проблемах. Ни о Руси со всей её вшивой историей, княжнами Морозовыми, Пугачёвыми, Чаадаевыми, Никонами, нервически взвинченными борцами, бесчисленными юродами, курсистками и великим предназначением. Ни слова о единственно-истинной вере, ни слова о гениях, властителях дум, убранных в косматые бороды. С ними, с ними разговаривайте! Вон как их много, один другого умней, красивей, одухотворённей. Вот у того трагическая красота в чертах, а у того доброта лучится из глаз, мысль молнией блещет, у того рыло вовсе кувшинное, но ведь что-то неуловимо прекрасное, согласитесь, даже вечно-женственное присутствует в его облике...

Выгнал бы всех я из дому, да дома нет. Ничего не поделаешь. А куда лезешь, бездомный? Чего вздумал!

И тон, взятый мною, не что иное как враньё, бессовестный обман. Кто, спрашивается, говорит так сейчас? Это классики позволяли себе роскошь распускать словеса, кречетом си-зым биться в серебряные органы премудрости, ну... ну, да ещё мой отец, полковник как-никак. Ему по службе было положено витийствовать.

Мне не подобает. Хоть я и сын полковника.

И вот, на пустой центральной аллее кладбища, уставленной чёрными обелисками в честь почивших дантистов, появилось существо, при ближайшем рассмотрении оказавшееся пьяным старикашкой, поющим невразумительный гимн сиплым, сырым голосом. Его качало. Он валился в мокрый снег, задирая ноги в галошах, прикрученных к щиколоткам бумажным шпагатом, ронял шапку, но продолжал идти и петь.

Было промозгло. Ветер носил вороньё косыми кругами над тусклыми изваяниями лип и титаническими костистыми грушами. Папу опускали в скользкую глиняную яму.

На ногах присутствующих налипли жёлтые вязкие пласты, которые они, переминаясь и горбясь, пытались незаметно стереть о серый сбитый снег.

И никому не было дела до меня. Никому. Клянусь тебе.

Я не спускал глаз с аллеи. Вот старик исчез в полутьме

кустарника, вот появился из-за набрякшего ангела с отбитым носом. Проталкиваясь и распевая во всё горло, он подошёл к могиле, наклонился, выпрямился, прекратил петь, шагнул в мою сторону, приблизил нос-сливу к моему уху и сказал:

– Великолепие и счастье хохочущим над гробами. Поющие и рыдающие яко гиены и шакалы супротив райских ворот, и... – икота сотрясла его, – славны дети мои-ы! – вдруг заорал он. – И пускай не помнит он вас, и пускай мы забудем о нём.

– Во имя милосердия! – возвысил он голос.

Бабушка подошла к нему и протянула миску с кутьёй. Другой рукой подала маслянистый стакан с водкой. Старик выпил, загрёб пальцем немного кутьи, остальное просыпал на снег и спросил:

– Помер?

– Так, – ответила бабушка.

– Кто? – спросил он.

– Большой человек, – всхлипком качнув голову, сказала бабушка. – Полковник.

– А-а-а... Ну, так это дело военное, дело безжалостное. А этот? – спросил он, указывая на меня худой, в тёмной старческой гречке рукой.

– Сирота он. Сирота! – Бабушка ловко ухватила руками мою голову и сунула в свой живот. – Один он... как перст.

– Ну, и слава Господу. Лето скоро, тепло... Одному лучше, – старик уставился на меня единственным лазурным гла-

зом, – букашки, таракашки поползут, а мы с тобой заживём на славу. Со мной не пропадёшь.

Давно это было. А старика помню. Во всём его слепящем величии. И счастлив я, и плачу от радости, что не остался сиротой в тот туманный слякотный день.

День стёрся, подобно тому, как стирается, ветшает бумага на сгибах, которую носишь в кармане, позабыв давным-давно, что выбросить можно, за ненадобностью. Вместо дня – прорубь зияет, снежок редкий.

Всё она у меня в уме вертится, из головы нейдёт прорубь та. Вода тёмная, тяжелая. Сбоку солёный огурец в лёд вмёрз. Закроешь глаза, а он тут как тут. Хоть криком кричи!

Нет, в самом деле, что же это такое! Почему не обратить взор вспять и не возвратиться во времена, когда... когда... Что когда? Не волнуйся, начни ещё раз, ты сказал: посмотреть назад и увидеть...

Да так, ничего любопытного, просто картинки, картинки. Разбитое колено и вдруг (откуда только?) благоухающие сливами ирисы, густые сине-лиловые омуты на жёстких, мясистых, как бы пылью присыпанных стеблях, от которых отделяются незаметно, отходят узкие и такие же, в сухой пыльце, листья.

Или пробуждение ночью – оттого, что во сне понял: не только дождь в саду, в вишнях одичавших шуршит, как

несколько часов назад, когда засыпал, и целый день (а за обедом, как из ведра, хлестал по тополям, клёнам за забором), а что-то ещё есть, что-то появилось ещё, чего не было и надо поскорей перебрать всё в уме, коснуться всего: и дождя, полившего вскоре после того, как пробило на часах в столовой одиннадцать. Затем обед и первое дуновение – что-то будет, что-то произойдёт, казалось, случится.

Или не казалось, а теперь кажется, хочется, чтобы казалось тогда, хочется, чтобы во всём была стройность, порядок и каждое событие предваряло бы следующее, не кончаясь, а то, в свою очередь, было бы лишь залогом будущего, только будущего, только залогом.

И потому, перечислив все черты, приметы, оттиски в полусонном сознании, можно было притаиться и знать, что день длится по-прежнему, и продолжаться ему ровно столько, сколько мне находиться в постели, оттягивая последний миг, когда нужно будет подняться и выйти в столовую, а там увидеть, как в щели между неплотно прикрытой дверью и полом – свет, а дальше, за дверью, в большой комнате яркий белый ослепительный свет, словно кто приехал, и голоса совершенно чужие, непривычные. Но не надо уже, чтобы они были привычными, потому что голоса – те, которых ждал и жду, лёжа в постели, стоя удвери, поднимая пальцы на босых ногах...

Тот запах, который вёл по тёмным комнатам и который

невозможно выделить из тяжёлых тенёт музыки ночного дома, когда весь день и ночь напролёт льёт, не переставая дождь и угасает позвоночник в тихой спине.

Так приезжала мама из дальних стран. Близких стран. И отец приезжал из стран далёких, близких, или он возвращался к нам из стран далёких, близких, или ничего этого и в помине не было – утверждала Соня – не ссаженных коленей, ни ирисов лиловых под окнами в серебристой росе сока, ни матовых припылённых стеблей.

Путаница, однако, в голове невероятная, отчаянная. О чём я хотел сказать? О знамёнах? Нет, не о знамёнах. Что мне знамёна!

Вон глаз чей-то. Тёплый. Такой прекрасный, милый, и руки лежат на коленях, и платок шерстяной в цветах мутных, беспокойных на пол спадает, и стены жилища моего – пока стены, но не туман, дым. И течёт кровь наша путями до того простыми, до того известными, что изумлена душа, опускающая долу свой взгляд. Нельзя пропадать. Да и можно ли исчезнуть? Побирושка моя, нищенка... зрачок смуглый, пепел развеянный...

Пудобней вот устроюсь, нога затекла – погоди – и дальше, дальше... тётя Варя не хочет покупать шляпу, напоминающую шляпу китайских кули...

А о китайце, который снился мне ежегодно, в день солнцеворота, я расскажу потом, когда буду рассказывать о люб-

ви, о самом страшном сумасшедшем доме на свете, о Соне и птице Пан.

Китаец, как и подобает китайцам, был вполне нем. На плече у него сидел небольшой ангел с крыльями из тончайшей рисовой бумаги. Крылья стрекотали на ветру, китаец стоял на пустынном перекрёстке неизвестных мне, выжженных солнцем улиц и протягивал с невыразимой мукой на лице, протягивал, протягивал толстую истрёпанную книгу, жужжащую листами.

И, главное, не спешить.

4

Не торопиться, говорил я, когда плелись мы на Васильевский остров с приятелем по солнечной стороне улицы. На Тучковом мосту я глянул в воду. Блеском ударило по глазам. Радужные пятна мазута переливались на подрагивающей поверхности. Чайки бились в воздухе, тщетно пытаясь лететь против ветра. Их сносило, швыряло в поднебесье, и они падали к воде, прижимались к ней. Было много всего: воды, мазута и ветра. Мы замедлили шаг.

Важно не спешить, сказал я себе, не торопиться. Прожито много славных дней. Прделана большая работа по развеществлению. Не хотелось бы умалчивать и чудные летние дни, когда по-настоящему был счастлив. Птицы поют, муравьи ползут, опустишь ноги в воду, болтаешь ими и рот откроешь от восторга – так всё бесцельно, так божественно, бессмысленно.

А после – полдень, купанье, брызги стрекоз на сонной слюде двойного воздуха, солнце восходит с разных сторон, тысячи солнц восходят из-за холмов, поднимаются из долин, и вишни по склону вниз, и тошнота брызнувших стрекоз. Я тень соскребу с глины и пушу по ветру. Жара... Вечер. И назавтра всё снова. И ночь есть – что тоже радует.

Её имя тебе уже привычно, и её затылок тебе привычен, и знакомы плечи, живот, ноги... не теперь, в прошлых рождениях, разумеется, возлюбили мы друг друга, но сегодня, солнечной солёной ночью, узнала тебя душа моя.

Назавтра всё снова. И вот, как сейчас, когда плетёмся мы по Съездовской линии, можно считать плывущие под веками красные пятна. Можно на обочине сидеть и ждать машину, а машина долго будет увеличиваться в размерах, покамест из блуждающей точки на сетчатке не превратится в самую что ни на есть настоящую машину, а в машинах возят камень, брёвна, сельдь, дыни, тюльпаны и пиво. Но и без пива, уверяю, можно сидеть на обочине. Славно!

Я говорю, что, в конце концов, все усилия наши направлены на то, чтобы достигнуть этой безмятежности, чтобы не отравляли твоё бытие солёные огурцы во льдах, чтобы брести этаким бубнящим идиотом по солнцу, смотреть на него, слепнуть понемногу. И не спешить, не бежать, сломя голову, невесть куда, неведомо зачем. Вокруг так хитроумно всё устроено, что глупо будет думать, будто ты – единственный, кто может как-то повлиять на ход судеб или, тем паче, на свою собственную судьбу. Вздор, вздор...

Нередко кажется тебе, возможно, снится, что вот *это* – ты уже видел и *того* человека видел, знал его, был с ним знаком, вас что-то связывало, но что – забыл, и напрасно морщишь лоб, припоминая, кто он, мелькнувший в толпе... Рудольф?

Майор? Отец?..

Не надо. Бесполезно. Он ускользает от тебя, похожий на кого-то, наделённый лукавой тайной сновидения, исчезает, как отражение на воде. Тут разное можно предположить. И склонен я думать, что эти люди, попадающиеся на пути, суть ты сам, иначе, откуда тоска? Почему ты беспечно не продолжаешь идти своей дорогой, а рвёшься, бежишь следом, заглядываешь в лица, мчишься вдогонку, очертя голову, и диковатые цветы безумия вспыхивают на губах.

Что ты шепчешь? Ты ли шепчешь? Зачем ты кричишь? Какая война? Какие знамёна?

И об этом не думай. Войны кончены. Знамёна истлели.

Не торопись.

Надлежит лишь взглядываться в ослепительные покровы и бездумно надеяться, что к последним рубежам подошли, а далее – ничего нет, и не было. И не одиночество страшно, как можно было бы предположить, не одиночество – оно вроде как искуплением желанным дано, милостью свыше в виде некоего времени, какого ещё не знали (или забыли, как младенчество забываем), а страшно то, что не знаем, как поступать с этим даром, несущим нам право отказаться от собственного имени во имя *ничего* – очень долгого *ничего*, после которого, быть может, и суждено понять, что и *ничего*, и ряд звуков, склеенных беспечно дыханием, которыми тебя окликают, и предощущения, и память: всё одно и то же.

Ослепительные покровы, граница, за которой, будто в чудовищном выпуклом зеркале, зришь и других, и себя в повседневных заботах, в повседневной боязни, в повседневной скорби, к которой (тоже не страшно) попривыкли и забыли... Но не бессмысленность движет тобой и ими, другими... но что?

История – выберу первое попавшееся под руку слово, хотя оно невразумительно, криво, бесформенно, это слово для сумасшедшего дома, это основа монологов, обращённых к многоуважаемому шкапу.

Вот и я вглядываюсь в чей-то сияющий глаз и понять не могу, почему ещё не утро, почему ещё не ночь, не соображаю ничего в сухом шорохе снега. Пути снежинок пересекаются, расходятся, опять сходятся, а казалось, произнеси тысячу раз слово «нет» – и наткнёшься в результате на то, что не подвластно этому слову, и тогда не просто надежда, но уверенность неизбывная войдёт в сердце, и не нужно будет тяготиться именами, угадывать в них ложь, лукавую тайну сновидения. Осенний снег сух и горчит жаром.

Нежданно-негаданно пошёл снег. Предчувствую в скором будущем появление китайца с ангелом на плече. Почему, кстати, мы ни разу не вспомним о них, понёсших самое страшное поражение этого века? Плакали мы на высотах Тибета, плакали на стене Великой.

Небо чисто, солнечно, сухо. Иногда реки глубоко уходят на века в землю, и не видно их. И города, выросшие на их берегах, приходят в упадок, неуклонно разрушаются, мелеют людьми, языком. Китай такой же рекой ушёл в небытие. Сухое солнечное небо, немного синевы, пыль снежная витает, иней. И неожиданно снег – крупный, влажный. Но о нём не так, как раньше. Не так слышишь, ждёшь не так, смотришь не так; и сколько снежинок, покачиваясь, опадает с мёртвого дерева, неба, столько же слов, сродни снегу, медленно уходят, минуя мою память, туда, на дно, где лягут в покое.

Правда, забавно? Заглянуть бы на это дно. Не там ли следует искать истоки времён года? Возьмём, например, апрель. Студёный, гулкий, выветренной бесцветной свечой стоит, и об неё бьются мотыльки нашего дыхания. Благоуханные мотыльки, смрадные мотыльки. Реки звенят льдом. Позванивают реки рыбами. Гремит воздух от крыл покуда ещё безгласных птиц – возвращаются вестники Эреба... Первыми слышат они наступление неизъяснимых перемен.

Стало быть, надо полистать календарь. Узнать, что за время наступает, узнать, как говорить о нём, что принесёт оно, что заберёт. Но и так знаешь, что принесёт. А что заберёт?..
Готовься, сын полковника. Час пробил.

5

Но терпение, говорю я, терпение. Медленно, неторопливо движемся мы.

– Обрати внимание, – замечает мой спутник. – Вон та женщина... вот она, в пёстрой юбке... и сандалиях, да? Она выходит замуж за американского консула.

– Ты её знаешь?

– Приходилось, – многозначительно произносит спутник. – Кстати, она не глупа (с какой стати?). Теперь она уезжает. И мы никогда её не увидим. Эх! – вздыхает он сокрушенно. – Эх, эх, нам бы... – и не договаривает.

– Ты, кстати, высоко ценишь умных женщин, – говорю я.

– Но она, правда, не глупа!

– Ну, подойди к ней, – говорю я. – Тебе же хочется. Подойди.

– Ты думаешь, это удобно? Мы с ней долго не виделись. Ах, чёрт возьми!.. И всё исключительно по моей дурости. Потом... она почему-то думает, что я – свинья, хотя так, как я к ней относился, никто... Да я тебе, по-моему, рассказывал.

– Она почти ушла. И ты никогда её больше не увидишь, – говорю я. – Поторопись.

– Мне неловко, – произносит он и оглядывается.

– Если человек уезжает навсегда, – говорю я, а солнце ро-

ится у меня в глазах, и оранжевые мухи копошатся, безвольно оседая над крышами и синим куполом запущенной церкви. – Если человек уезжает навсегда, – повторяю я. – Если...

– Ладно, – решается он. – Ты не уходи без меня. Я сейчас, мигом.

И он, прыгая, настигает женщину в пёстрой юбке, касается её загорелого локтя, останавливает. Забилась, задёргалась лента немого кино, застрекотали картинки.

От нечего делать я разглядываю женщину. Она молода. На вид ей не больше двадцати шести... Но лето! Что с нами делает лето! Загар, воздух... На левой руке у неё платиновый браслет. Консулы не дарят медных браслетов. Если бы консулы дарили медные браслеты своим невестам, некто не пропивал бы золотых и платиновых в Нижнем Тагиле. Её браслет ещё не пропит, замечаю я, мой приятель знает это, но ему неловко, видите ли, он сгорает от стыда. Ещё сумка из светлой замши, какая-то майка, под которой лежит пока-то грудь, и сквозь жёлтую ткань видны соски. Розоватое ухо, прядь ржанных волос. Они направляются ко мне, вот что я вижу.

«Плохо, – с внезапной тоской думаю я, – как плохо»... Они не помешают мне, они не смогут мне помешать, они не разбудят спящих слуг, но отчего так плохо?

– Познакомьтесь, – приятель цветёт от счастья. Его простили, с ним поздоровались и не назвали свиньёй. – Это Вера, моя старая знакомая. Кажется, я тебе говорил о ней.

– Вера, – и не громко, и не тихо, и не быстро, и не медленно называет она своё имя.

– Вот, – говорю я. – Очень приятно. Вы, правда, выходите замуж? Так вот оно что!..

– Какой ты болтун! – притрагиваясь к уху, говорит она моему приятелю да пальцем грозит вдобавок.

– Правда, – это уже мне говорит и волосы убирает за уши.

– А консул не напарит? – спрашиваю я строго, даже безжалостно.

– Нет. Мы познакомились с ним на пушном аукционе, где я зарабатывала деньги на поездку к тётё. Тётя у меня с «тараканами», – усмехается она, – У неё никого, кроме меня, и она капризная. То ей это, то ей другое, то ей подай шляпу китайского кули, то меня. Я не могу без тётё, и тётя без меня никак, – закончила она. Высокомерие? И у приятеля какая-то ненужная фамилия. Утром у меня болело сердце.

– Куда мы пойдём? – спросил я. – Не век же стоять тут! Вера возьмёт нас с собой. Да? Во имя счастья, Вера, прихватите нас куда-нибудь, где под полосатыми маркизами дают ледяные напитки, и чтобы женщины в кисейных платьях...

– На голое тело, – лихо подхватил Амбражевич, но в тот же миг сник. Наверное, про свинью вспомнил.

На него иногда находит нечто вроде просветления, и я его люблю в такие минуты, когда он в неописуемом упоении завивается винтом, и его уже несёт в полную тягу, и не остановить его. Сколько прекрасной чуши, сколько восхитительной

глупости обрушивает он на собеседника! Увы, за последние месяцы всё реже и реже становлюсь я свидетелем его душевного волнения. Годы берут своё.

– А куда бы вы хотели? – сухо спросила Вера. Как видно, её не тронули наивные и чистые мечты о полосатых марках, прохладительных уладах и летнем бессмертии. А всему виной некий консул. Не будь консула, не будь жениха – куда бы она делась?

Вера презрительно и недоуменно пожала плечами.

– Тогда в мастерскую, – поглядывая на меня, предложил робко Амбражевич. – Если, конечно, нам некуда пойти, отметить событие... – продолжил он. – Мы, стало быть, в мастерскую направимся. Ну как, идёт?

– Что идёт? – спросил я. – Кто идёт?

– Ко мне или не ко мне, выбирайте!

– Отмечать событие? – спросил я. – Отпраздновать?

Вера пришла ему на помощь:

– Ну да, мы столько не виделись! И не в моих правилах...

– Ну и событие! – перебил её Амбражевич совершенно хамским образом.

– А не надо было будить меня утром. У меня сердце болело, – сказал я.

– Меня это не касается, – сказал Амбражевич и закурил. – Так и будем стоять?

– Пойдёмте... – рассеянно, мило, скромно, с корзиной плетёной, подол муслинового платья оправив. Стерва. –

Пойдёмте, и скорее. Мне потом надо позвонить в консульство, а потом, Господи, ещё в ОВИР, к маме заехать, телеграмму тёте дать. Сколько дел! А вы, шалопаи, представления не имеете, что такое дела. Говорят, там все что-то делают...

Они пошли. Я сзади пошёл. Постепенно терял их из виду. Последнее, что до меня донеслось, были слова Амбражевича:

– Вер... зайди ко мне, ну, конечно... да? Он покупает? Надо, чтоб покупал... он Ермакова купил? Нет?... Странно... Вера... с утра, до одиннадцати, всегда у себя.

Я ускорил шаг.

– Нет, он не такой, каким ты его представляешь – услышал я. – Ты думаешь, что он толстый потный старик, изнемогающий от похоти, с жёлтыми прокуренными усами? Глупый, он не такой, совсем не такой. Молодой, худющий... Знаешь, есть люди, напоминающие пернатых, но не птиц. Понимаешь, он не совсем птица, но многое такое... Недавно окончил Гарвард, а это не шутка. У них вся семья заканчивала Гарвард. У него мама в штате Цинциннати. Он ещё и по-русски толком не говорит, а ты – Ермакова купил?

– Какая мама? Какой язык? – издали всполошился Амбражевич. – Живопись не требует знания языка. Тут цвет, если хочешь, архетип, наконец, вера... творчество это молитва... судьба... и... слияние...

Их затёрла тётка с корзиной огурцов. Тётка надвигалась на меня двуполым божеством полудня.

И тут, в Петропавловской крепости, как раз ударила пушка. Был полдень.

Голуби попадали с крыш, две тени сомкнулись в одну. Взревели старухи на детских площадках, удерживая смеющихся чад. Солнце вонзилось в середину цифирного круга, разбрасывая в стороны фарфоровые фигурки часов.

6

Мимо Михайловского сада я шёл, спустя час, мимо замка, огибая цирк. Ноги саднило от ходьбы, но счастливая пелена заволокла глаза. Дома и крыши, прохожие, небо, грязная вода в канале отделились рыхлым тестом жары.

Размеренность пространства, в котором передвигалось моё тело, сулила покой, однако в великолепный сомнамбулический речитатив движения просочилось несколько искажённо-страстных ноток боли. С изумлением поднял я к глазам руку. Она была цела, ни единой капли крови не показалось на ней. Я наклонился. Между ремешками сандалии на правой ноге застрял камешек. Но не он был причиной беспокойства.

Всё вместе: и отсутствие видимых причин, и само ощущение тревоги, и, возможно, боль, мелькнувшая в теле, подобно мысли, – удручило меня и в который раз повело по оупляющему пути привычного. Утром болело сердце, а ночью снилось, что болит сердце... Я проснулся, кто-то стучал в дверь, и я открыл. Откуда боль? Ходит, шляется где-то под окнами, а не успеваешь глазом моргнуть – тут как тут.

Очевидные истины меня всегда пугали. Я избегал их с упорством умалишённого, не находя в себе достаточно сил принимать такими, какими они были. Я готов был повторять сто тысяч раз известное до дыр, лишь бы его смысл миновал

меня. Мог болеть зуб. С таким же успехом могло ныть сердце.

Наверное, мне иногда хотелось выглядеть со стороны человеком, пережившим большое потрясение – так нищий мечтает не о куске хлеба, не о крове, а о миллионных состояниях.

О боли можно забыть. С ней можно бороться, противопоставив ей не боль. Мне оставалось единственное – взрастить боль, взрастить её, лелеять каждый её росток до тех пор, пока не заполнит она моё существо без остатка и я не стану лишь отражением самого себя-боли – дойти до предела.

Улица, на которой я оказался, была пустынна, как может быть пустынна улица между полднем и вечером где-то на окраинах июля. Отрадны летние руины, отрадны маленькие увечные улочки, иглу напоминающие, где дома стоят один за другим, а из крыш, из карнизов, из голов чадных гипсовых младенцев неуверенные хрупкие побегии тянутся и не видать (где там!) – рек не видать, ветра не слышать, не падать лицом за птицей – тень бережёт тебя и свет, вымостивший мостовую этой летней порой. Летом улицы вымирают.

Я постоял, наклонил голову и пошёл восвояси. Зачем мне эта улица? И что с того, что здесь я жил просто и незатейливо, уповая Бог вещь на что. Что с того, что здесь я стал искать в душе своей некую идею провинции, возвращать её, словно боль, стремясь добраться до её пределов. И не имеет

значения остальное, что происходило на этой улице, как не имеют – утратили его давно – тёплые нездешние вечера, пена мусора в утреннем ветре, окно, где иной раз можно было увидеть меня, и прочее, прочее...

Давно меня здесь нет. Я съехал отсюда. Много существует улиц, откуда я съезжал, отстраняя лживые предчувствия благодати, не веря, что будет мне дальняя дорога, что проникну во многие тайны природы, что ляжет на грудь пониже левого соска кровавая дама червей.

Там, за пределами этой, не моей улицы было всё. Там жена консула уводила в головокружительные лабиринты женского счастья моего приятеля, а здесь стоял я, тупо глядя, как пульсирует в окнах небесная плазма, предаваясь воспоминаниям, но весьма странным образом – обрывая их, лишь только возникали отчётливые очертания жеста, голоса, чего-то ещё – лица.

Не надо было мне заходить сюда. Стоило увидеть, как солнце блещет в стёклах... Нет, и так всё понятно. Ясно, что я никогда не жил на этой улице, в этом городе, в этой стране. Я вообще не жил эти годы. Ничто не переменилось тут и не переменится – детское лицо в двери останется детским лицом, и полумрак прихожей будет таким всегда, и я, стоящий здесь, останусь рядом с собой, снующим по тротуару. Вообще ничто не меняется, так только... накапливается, подобно рухляди в кладовой. Вчерашние вещи, сегодняшние вещи –

цена одна.

Ах, если бы сказали мне, что спутник мой живописец и мудрец Амбражевич угодил под автомобиль с надписью прямыми эмалевыми буквами «хлеб» – без малого восемь минут назад!

Нигде я так не чувствовал себя уверенно и безмятежно, как на разогретом асфальте, даже в комнате, где прожил последние полгода, где томление и ярость не покидали меня ни на минуту. Третий этаж, окна на стену, на стене – голуби... Ты просыпаешься, глядя на стену, ты встаёшь, умываешься, завтракаешь, уходишь, приходишь, ложишься и просыпаешься – голуби в голубом мраке рассвета клокочут; шорохи, стоны, голоса спящих, двор. Голоса на стенах, льнут к камню плющ и дикий виноград; подымаешься, завтракаешь, втискиваешься в автобус.

А вообще, дела ничего. Нормально дела. Вот в комнате подмету, пыль с книжек сдую. Скажите на милость: серое небо, Аустерлиц, наедине с небом, альпинизм... «я слово позабыл, что я хотел сказать».

Подметаю в комнате и думаю о сегодня. Вероятней всего, что я не просто живу, но и хожу на работу, то есть делаю и то, и другое на протяжении определённого отрезка времени для того, чтобы получить за то и другое деньги, которые (в промежуток времени по длине почти такой же) я могу отдать за то, чтобы утром проснуться, выпить чашку чая, втиснуться в автобус.

Господи, а если меня спросят, что я делаю на работе? Я

ведь не смогу ответить. Но мысли заняты другим: обугленной картинкой, на которой горячее небо, камень, спутанная сухая трава и ящерица.

История, которая, несмотря на все усилия, не начинается (мысли заняты не происходящей историей), и уже сказано, однажды утром я сел и быстро-быстро, изменяя почерк до неузнаваемости, исписал страницу. Справа на стене была торопливо-пьяная надпись: отец мой и в самом деле полковник.

Я её сделал гораздо раньше. Слева от меня окно. Об окне мы уже говорили. Накрапывал дождь.

Каждому необходимо избыть неизмеримый груз знаний, которыми он наделён до такой степени, что совершенно безболезненно может прекратить разговаривать.

Речь бессильна вместить в себя наше неизмеримое знание и потому самоустраняется. Остаётся то, что называется языком – влажная бесформенная масса, обожжённая мычанием и стоном, исторгнутыми горлом из живота. Или из души. Из души лучше, легче, вразумительней.

Вот выпьем и пойдём одновременно по солнцу и по тени, уменьшаясь и возвеличиваясь, уходя и в то же время возвращаясь. Более того, постепенно учишься ещё большему: хочется пить – пьёшь. Не хочется – не пьёшь. Но как всё перепуталось! Как запутано. И всё реже и реже... Невольно приходит на ум откровение одного монаха.

Праведник, он на склоне лет записал примерно следующее:

«Будда учил людей, что если соприкоснёшься с вещью, не прикрепляйся к ней близко. Значит, и то, что я теперь люблю вот эту хижину из соломы, – сетует монах, – уже есть грех? Значит, и то, что привержен к уединению – уже преграда на Пути!»

Бедный, бедный монах! Заметьте, как просто и изысканно его рассуждение. И безо всякого злорадства говорю: поистине он добрался до сути вещей. Наступает время, когда самая горькая нищета может стать и становится бесценным сокровищем. И с не меньшим ожесточением, исступлением, конечно, иным, но всё равно таким, приходится его отстаивать, как если бы за спиной – и любовь, и дети, и Бог, и сокровища Махараджи!

Что остаётся на долю совершенномудрого? Погрузиться в пучины греха, народить детей, выиграть в лотерею десять раз кряду?

Теперь и я, пытаясь не исказить собой извечный порядок, не желая нарушить равновесия ветви, не загрязнить источник (всё равно: святостью, грехом), – не желая того, делаю обратное. Вместо того, чтобы слушать, я рассказываю. И было бы что рассказывать! Мало того, замечаю: чтобы верили, мне хочется, уверовали в то, что рассказываю, а в противном случае – зачем огород городить!

Дождь стучит по подоконнику. Со стула сползаю, дыра во лбу... или смотрю в окно – стакан на подоконнике, сумерки на скатерти в коричневую клетку, и я неловко заваливаюсь со стула набок с идеально круглой дырой во лбу. Так хочется! Так и подмывает кончить на этом, и нет историй, и не было, но я смотрю в окно и думаю, что рано или поздно кем-то произнесётся слово:

достоверность.

Однако притворимся, что нет необходимости в этом слове. Кто пальцами постучит по столу, кто закурит, кто стихотворение напишет.

Пока сомнения. Заставить слушать... ну да, принудить к слушанию, заставить слышать то, что, повинуясь моей прихоти, приобретает облик некоего повествования. И вот – опустить мосты! – первая ложь и первая награда: во главу угла кладу себя, – в небесный лён мы пеленали, – поудобней устраиваюсь.

Мы легкомысленны, мы доверчивы, мы добры, мы веселы, мы с тишайшим хохотом избегаем описаний, потому что плод воображения – они, призрачные лоскутья пресловутой осведомлённости. В Африке люди чёрного цвета, во Франции изобрели сыр, мы не рабы, рабы не мы.

Отсюда следствием – первая и столь короткая ложь – Я.

А потом в открытые глаза пробралась ночь, а в уши закрались милые ночные шёпоты, серенькое светящее небо,

стена, каменные плитки голубей на стене. Я шаркнул рукой по обоям, окончательно проснулся, – ещё одна гражданская война. Ещё один урок. Не следует засыпать слишком рано. А бабушка говорила, что нельзя засыпать до захода солнца, но страшной всего уснуть в час, когда солнце садится. Дурное время.

Но вернёмся к уроку. Во снах мы их получаем гораздо чаще, нежели бодрствуя. Стало быть, ещё один урок преподан мне. Ладно, ладно...

Распад, – записал тогда, а теперь со смутным отвращением читаю, – распад порождает Описание, а оно берёт в поводыри боль.

Страница, где говорится об этом, написана карандашом. Кое-что стёрлось и потому не вполне ясно, что я хотел сказать дальше. Ну, а после появления столь любимой в моих краях большой буквы остаётся возненавидеть себя, хотя бы так, как Иоанн – ветер с Хеврона. Хорошо быть не русским! Там, в какой-то Европе, «я» выведено литерой прямой и строгой, там над чертой-камушком, зёрнышком, точкой клочок витает, облако повисает, не касаясь корпуса буквы. Здесь же... О лукавство, о византийское хитроумие моллюска!

Да к тому же китайские розовые облака над заливом.

Кстати, букву «Я» недавно довелось увидеть воочию. Она появилась в облике физика. У физика отсутствовала борода, не было рыжих сандалий, истоптанных на высокогорных

тропах Тибета, не было костюма маренго и грязной панамы. Физик походил на немецкого пекаря из пряничной сказки. Перевести дыхание – вот как это называется. Перевести дыхание – и только.

Что за физики? Какие панамы? Какие спектакли? Когда-то брат убил брата и заплатил собой за смерть, позже кто-то угодил под машину, что, в свою очередь, совпало со многим другим. Не беда, что рядом с камнем, подобранным на склонах Митридата, будут находиться персики или селёдка, период разложения коих неимоверно короче, чем, скажем, того же камня со склона Кордильер. При всём том, необходимо отметить, что нравственная физиономия протагониста чрезвычайно расплывчата! Ограничимся литературой.

8

Я, снедаемый неутолимой жадой понять для себя и только для себя, вторгаюсь бездумно в то, что называется моей жизнью (.....), ибо легко, гораздо легче и безнаказанней снискать себе место в привычной цепи чужих действий, нежели осознать себя в своей собственной истории, границ которой и поныне не представляешь. На свой страх и риск поначалу искать в кромешной путанице своей смерти – (певучей тягостью в её сотах собраны все смерти: человечество минус ты) – рождение, в котором каждая вещь, точно оборотень, таит угрозу.

И не бегство, не позор, не мнимое избавление. Да, конечно, если не так, то ощущаем себя повелителями, судьями чужих соломин, но обернись и погляди на корявое, в пепельном налёте дерево шелковицы, разбросавшее изъеденную тень над неказистым забором из старческих охристых плит ракушечника. Звон в ушах прочти, вслушайся в спину скошенного пешехода – можно ли понять значение и того и другого?

Я могу кричать, срывая голос, отшвыривая его прочь. Я могу кричать, покуда разум не оплывёт огарком, – можно ли понять это! Можно ли понять не это, а другое! И если бы только дерево и человек на тротуаре, если бы лишь картинка

из книги были единственными признаками бытия!

Так что же заставляет меня томиться тенью шелковицы, её сучьями, обозначенными на известняке старческом, над лицом незнакомого человека. И ты бежишь, бежишь, в лицо заглядываешь мелькнувшему за поворотом, и несть остальному числа: ступени, стебли. Потому что, как долго бы ни писал я, ни говорил, стану в лучшем случае упиваться сладостью имён, в худшем – гордыней охваченный, последую за пустым желанием поведать, как мне кажется, истину.

– А ты, дурак, в Бога веруй.

– А ты?

– Если бы не знал, не говорил.

– Ну и как?

– Помогает.

– Мне не надо помощи!

– А потом? Потом?

– И потом не надо!

– Напрасно. Прощай.

– Да, да... Ах да, до свидания, спасибо...

Что может быть глупее? И это ещё полбеды. В том случае, когда жизнь или истина, или ещё что-то неоспоримым покажется, с настойчивостью умалишённого будешь исповедовать только это.

Нет конца крестовым походам. Сколько времени прошло, а всё начинку для пирога готовим, крутим, вертим, как цыган солнцем, – ну и пирог будет!

Увлёкся. Делать нечего... Как ни смехотворно занятие, которым я занимаюсь, мне, слушателю, высшим наслаждением считавшим тишину, искавшим повсюду её следы, как археолог ищет в толщах почвы, песка и спекшейся глины черепок единственный и утешение в нём черпает – придётся превратиться в рассказчика.

С какой целью? В детстве у меня был приятель... биннокль... деньги... мама... Приятель достиг цели. Папа достиг цели. Паралич настиг дядю. Идущие на смерть, приветствуют тебя, дядя.

Не знаю, не знаю – идти, кажется так, по солнечной стороне улицы, как сказано кем-то, и слепнуть понемногу, потому что, когда закроет тьмою свет глаза, нет тебе опоры во времени. Оно не нужно.

В октябре месяце, часов около одиннадцати вечера по Васильевскому острову двигалась небольшая компания. Не говори об этом, не говори, прошу тебя, не напоминай – паводок времени, разлив зеркальный над лугами: покачиваясь, мирный мусор по равнине течёт, ветром оплетены сучья – прибежище в будущем, куда относит (привычное сравнение и оттого спокойней), но выдувает сквозняком: изломанная фигурка руки раскинута, ватная голова набекрень, вертится над кромкой леса. То бес шепчет в кружевах древесных: за-

гляни туда, где тебя нет ещё, но пальцами нащупай, нашарь под кожей *сейчас* среди тел пустое место – тебе предназначено, – которое займёшь, вращая потом, – привыкни, обживи.

В октябре месяце года, благоприятного всеми созвездиями, поздним вечером по Васильевскому острову двигалась небольшая компания.

Скучно двигалась. Без выкриков, без песнопений. Да и откуда взяться веселью в эту нерадостную пору? Трещали сучья, облетел до стекловидных ветвей маньчжурский орех на Большом проспекте. Из гавани непрерывно дуло (там кончалась земля и мир), летела плоско, шипя, рябая вода по асфальту, мокрые, с чёрными подпалинами листья лепились к окнам нижних этажей, клубилась изморось у ртутных фонарей наверху, потоки обжигающей пыли обрушивались вниз, а за гаванью, за заливом ничего, ничего... очертания Левкадской скалы проступали под ногами, и ещё дождевая близорукость, смирение зрачка в разительно выпрямленном синтаксисе непогоды.

Компания направлялась к ещё открытому кафе на углу Второй линии. Можно сказать, что в этот час вино покупают только там. Отвратительное петербургское вино, сваренное, смешанное в крошечной сырости подвалов, чудовищный портвейн – «виноградный», как свидетельствует надпись, впечатанная в ядовито-красную этикетку; но я хотел

бы знать тот виноград, пощупать, раздавить пальцами ягоду, перетереть её ускользящую кожицу и поднести к губам, на вкус, на цвет... виноградники Тартара, – и вы работали на винограднике в разное время, – ртутный мышинный бег воды по волосам, щекам, за ворот. Галера осени нестройно машет вёслами. Таков конец. Наиболее скучный, наиболее никакой, такой вот... избран.

В это время, когда гастрономы торгуют единственно ненужным сыром и прокисшим молоком, здесь можно было приобрести, приложив некоторые усилия и зная, кому заплатить, немного чёрного вина, горсть гнили – портвейн «виноградный», вино гордое. Оно было подоплёкой движения, пока незримой.

Не говори, прошу тебя, не говори много. Скажи просто так: внутри, у дверей сонный человек в вылезшей меховой шапке курил, стоял, ходил. Отбрасывал резко руку с папиросой, раскалённой на конце, трещавшей от капель, падавших с ворсинок меха, с ресниц больных трёх ламп, тускневших мерно под известковым потолком. Читал вслух – читал и высказывал мнение. Смешные надписи.

– Дурачье! – говорит человек, и из пальцев его смятый уголёк выпадает. – О, Россия, Россия! Он не умер. Он жив.

Его прерывает вздох двери, стук упавшей стоймя двери в облупленную разрисованную стену.

Не говори только, кого ты знаешь. Ни в коем случае. Ни-

кого ты не знаешь, не знаком ни с кем. Да, да... люди незнакомые, похожие, правда, на кого-то из тех, кого ты знал. Ну и что? А чем похожи? Словами? Тем, как словечко скажет и губу изогнёт, тем, как подастся вперёд удручённо, словно услышать собирается что-то, и мимо... тоже знакомо, не совсем, но понятно.

Костя в меховой шапке. Я его знал летом. А меня здесь нет, как бы нет, потому что руками вожу, по голому месту руками, луна в голове болит. «Какая осень... какая ранняя осень», думает сорокашестилетний Костя, «почему с каждым годом осень наступает всё раньше и раньше?»

Встречаются люди, которым для душевного равновесия необходимо поводить рукой по корешкам книг – «успокаивает», утверждают они. Других успокаивает прикосновение к камню, к другому человеку. В разных утешениях нуждаются люди. Многих, о которых упоминала стена, Костя знал.

«Адмирал, – прочёл он, – объявил голодовку. Приветствуем Адмирала. Держись, Адмирал. Не кусок мяса, а принципы торжествуют в наш век», – прочёл он. Костя хотел было прицепиться к кому-нибудь и на худой конец подражаться, но час стоял поздний, и надо было подумать, куда деваться, – предстояли долгие, чудовищно ненужные времена ночи.

Вкратце всё сводится к тому, что они уходят с вином. Из гавани дует. И гонит, гонит ветер не траву, а воду по дороге, возвращает к истокам, вспять обращает. И носится вокруг

компании, кружит, затягивает безмолвно к белым камням побережья, где серая вода кипит извилисто и ни души. Пусты пляжи, осень давно, вечер давно, ночь давно, а что можно сказать о ночи?

Куда они ушли? Не наделён я даром предвидения, не скажу. Ушли, скрылись с глаз, унеся с собой, как шар воздушный на нитке, возможную пустоту, где мог бы я быть.

Какой смысл торопить события? Ведь октябрьский вечер, и ветер, и дождь, и компания произойдут через год, а теперь, кажется, я стою на пустынной улочке, рассматриваю бледное детское лицо в проёме двери, гляжу на алебастровых младенцев с головами, разорванными корнями городской поросли, и рассуждаю праздно о днях и ночах, или в комнате сижу, записывая наблюдения, выковыривая, как изюм из булочки, события из вязкой глины реальности, вражду испытывая неодолимую, сочащуюся из каждой поры этой самой реальности, ко всему и в первую очередь к себе. Я не хочу быть рассказчиком, я вообще не хочу быть кем-то, но я вынужден быть. Ограничимся этим.

Я бы и к Амбражевичу не подошёл тогда, когда, покидая сонную улочку, выеденную до костей летом, свернул на Фонтанку и увидел его. Пока шёл, не его видел, а неподвижную толпу из десятка зевак. Определяло их единство действия, как мухи на иглу, насажены были созерцанием чего-то белешего. По мере приближения внезапно заговорил я вслух, словно отдаляя себя с каждым шагом, который меня приближал неуклонно (чтобы не забыть) – Амбражевич, ты исчезаешь с лица земли. Куда ты? как отблеск уходишь ты, осенённый толпой и страхом толпы, забывая с непостижимой скоростью прелесть земли.

Однако я был вынужден.

Жена консула растерянно стояла у пивного киоска, она была совсем не красивая. С отвращением я посмотрел на неё. «Она убила моего спутника, – пронеслось в голове, – толкнула под машину».

Я подошёл ближе.

– Это мой брат, – сказал я.

Люди, расступились, безвольно отшатнулись, словно я был частью того, что находилось на низких носилках, в изголовье которых на корточках сидела полная сердитая медсестра и что-то делала одной рукой под простынями. Почему его не увезли?

Голова Амбражевича упиралась ей в живот. Доктор стоял поодаль. Шофёр сидел в машине.

– Амбражевич, – окликнул я его.

– Ну? – сказал я, склоняясь над ним. По простыне бродили, дрожа очертаниями, киноварные архипелаги.

– Амбражевич, – повторил я, повышая голос.

– Откликнись, – сказал я.

– Ну, что это! – тихо произнёс я. – Нелепо...

– Амбражевич! – крикнул я. – Ты должен мне деньги! Что это за фокусы! Ты слышишь?

– Да, слышу... но... деньги... нет... нет, – по губам прочёл я ответ, и розовые пузыри оторвались от его губ, взмыли в мелкое небо, унеслись и там растаяли... денежки, денежки, плакали ваши денежки.

– Прекрасно, – продолжал я. – Я тебе верю.

– Мне скоро вот это... – прочёл я ответ по пузырям, отделившимся новой тяжкой гроздью от его известкового рта.

– Не знаю, – сказал я, пожимая плечами. – Солнце ещё высоко, до вечера далеко. Всё может быть.

– Быть ничего не может, – сбоку категорично заявил доктор. – Ему пора.

– Сказка... – сказал низким голосом Амбражевич и захрипел.

Его погрузили в прохладную машину и увезли.

Жену консула я нагнал у Аничкова моста. Она не торопи-

лась. Судя по всему, она отложила дела. Когда я притронулся к её локтю, она даже не обернулась. До того, как подойти к ней, дотронуться, я и не знал, как поступить – не лучше ли отстать, затеряться?

– Теперь во что бы то ни стало вам необходимо уехать в штат Цинциннати, – обратился я к ней, притрагиваясь к локтю. – Просто необходимо.

– Ох... Да, надо... – проговорила она. – А мы вас искали целый день. Если бы не искали, то никогда не вышли бы на эту проклятую Фонтанку. Он сказал, что вы должны у кого-то здесь быть, у знакомых, и мы хотели вас пригласить с собой, а вас не было у знакомых. Вот... И эта машина... Боже мой! – Она стала плакать, сначала тихонько всхлипывая, потом громче, а потом во весь голос на жарком Невском проспекте зарыдала.

– Боже, боже, я понять не могу! Что же это происходит!

– Что происходит? – спросил я. – Для вас одно, для меня другое. Для него, кажется, ничего не происходит. И прекратите плакать. Люди оборачиваются. Перестаньте плакать и пойдём.

– Куда? – вскинулась она. – Куда идти? О чём вы? Я никуда не пойду.

– Ну, а какой смысл стоять? – сказал я и добавил что-то вроде того, что ничего не изменить, ничего не поделать, ничем не помочь.

А мой друг махал мне с раскалённых равнин, в челноке

из коры, покачиваясь: счастье! – счастье разлуки, странствия юности, смерти-цветения.

– Да-да, вы правы. Надо идти, не стоять же вечность. И дел много, позвонить маме, тёте телеграмму дать, у неё день рождения. Вы не знаете, зачем мне звонить маме? Не знаете? – ещё слеза, ещё одна. – Какая мама? При чём здесь мама! Скажите мне...

– Успеете всем позвонить, времени у нас много.

Я взял её под руку, несильно потянул за собой, и мы пошли. Пока шли, отклоняясь поминутно от обезумевших приезжих, а она всхлипывала, покорная моей руке и шагам, я, стараясь ничего не упустить, возвращал вечер месячной давности. Тот вечер, когда ко мне пришёл Амбражевич.

Мы поставили чайник, открыли окно. Незадолго до этого я вернулся с работы, но успел искупаться и вымыть голову. Мне было приятно от того, что никто из нас не собирался совать нос в дела друг друга. Впереди маячила какая-то радужная точка, она казалась праздником.

Сам праздник – мелочь, пустяк, скука, а предвосхищение его, напротив, чудесно. И жив, вероятно, русский не праздником, как считают по ошибке, а именно предощущением его, предчувствием: сборами, милой пленительной суматохой, лёгкой праздностью и упованием неведомо на что, но обязательно прекрасное, непременно всеобщее. На праздник уже сил не хватает, впрочем, порой наступает и праздник, после которого долго ещё во сне кричат его участники и устроители. Да и впрямь, что такое, в конце концов, праздник? Обучены предшествующим опытом...

Чайник быстро закипел, в полированной сфере защёлкало, горячо заныло. Из окна веяла прохлада. Под окнами темнела туго сплетённая тополиная сеть, где птицы обитали металлическими поющими комками.

Склонившись над чайником, который достался мне от прежних хозяев комнаты, мы наблюдаем, как неспешно, впитывая влагу, разворачиваются в крохотные тугие лопасти чайники и темнеет вода.

– У тебя что-то случилось? – спросил я.

– Ерунда. Что у меня может случиться! Просто решил навестить тебя. Ничего не случилось, и ты лучше меня это знаешь.

– Ну, не случилось, так не случилось. И никто лучше меня этого не знает.

– Кривляться без конца, как ты, по-моему, скучновато, – сказал он. – Всё шуточки. Когда я слушаю твои шуточки, я, признаться, плакать готов.

– Ещё чего не хватало! Слезами горю не поможешь.

– Что правда, то правда, – согласился он.

– Всё-таки у тебя что-то стряслось. Просто такты бы не пришёл.

– Всё равно ты ничего не поймёшь, – пояснил он. – Я с трудом сам разбираюсь в этом.

– Ты никогда не отличался склонностью к анализу.

– Ну, просто места не найду... – не слушая меня, продолжил он. – Художником быть не просто.

– Просто пришёл, просто места не нашёл. Вдобавок: художником быть не просто. Не много ли простоты?

– Бывает, иногда я окину взглядом прошлое, этап, сделанное – дух захватывает! Нет, правда: подумаешь – подумаешь, а после места себе не находишь.

– Пожалуй, ты хватил! Насколько мне помнится, место есть у каждого, а ты не можешь его найти, потому что слишком часто окидываешь взглядом прошлое.

– Это я оглядываюсь на прошлое! – воскликнул он. – Знаешь, мне недавно рассказали сказку, так вот ты...

– Потому ты и не нашёл места, – сказал я.

– Почему потому? – обескураженно спросил он.

– Тебе лучше знать, – уклончиво заметил я.

– Так вот, слушай: я, к твоему сведению, нашёл своё место в жизни. Заруби у себя на носу. Слышишь?! – почти выкрикнул он. – Я нашёл своё место, потому что верю в кое-что.

– Во что именно, позволь узнать.

– О таких вещах не говорят, но я тебе скажу, потому что пока тебя не поставишь перед фактом...

– Во что? – ещё раз спросил я.

– Я верю в Бога, в искусство, верю в то, что красота спасёт мир, наш безобразный, тоталитарный, изолгавшийся мир. Вот почему: я верю в... – на секунду запнулся он, потому что у окна с угольным шорохом пролетела птица. – Верю в добро, а не потому, что у каждого есть положенное ему место в жизни и он живёт на этом месте, как крот в норе, – слеп, глух, чуждый всему, – с высоким упреком закончил он.

– Да-а-а... – пробормотал я. – Да-а-да. Чай стынет.

– А ты! – выбросил он указательный палец. – Ты доволен своей грязной жалкой работёнкой. Ты рад ежедневно получать свои тридцать сребреников, потому что...

Я знал что последует за этим и потому опередил его.

– Циник – это ты, – сказал я, внутренне ликуя от впечатления, которое произвели мои слова, и снял крышку с чай-

ника.

– Полюбуйся на свои картины. Кажется, ты художник?

– Не говори о живописи. Что ты в ней понимаешь. Живопись, так сказать, вне подозрений.

В сущности, он был не настолько глуп и испорчен, как кажется теперь. Ну да, человек как человек... Ущербный, кривоватый, безграмотный, болтун, любил деньги – старая, очень старая история.

– О да! Скажи, что меня губит безверие и... как там говорится – нигилизм? Слово это нынче опять в ходу.

– А ты скажи мне вот что: помнишь, когда мне было совсем плохо, когда у меня копейки в кармане не было, чтоб заплатить за проезд...

– Мог и бесплатно ездить.

– Не прикидывайся дурачком. Ты помнишь? Нет, скажи, помнишь?

Что мне было помнить? То, что он приехал сюда в надежде завоевать этот город, а вслед за городом завоевать Европу, продемонстрировать мощь и силу, и что он невольно сравнивал себя со мной – вот что потешало меня безмерно: его непоколебимая уверенность в том, что мы в чём-то одинаковы. Судьбы, дескать, у нас схожи во многом. К сожалению, я пренебрёг заветами и опустился.

Он же, рыцарь (дурак, дурачина!) продолжал некую мифическую борьбу за идеалы свободы, творчества, счастья,

светлого будущего, жажда жизни, муки творчества, а наградой – взгляд голубых глаз, премии, публикация в неведомых журналах, галереи – клубилась его мечта, несла его в неведомые страны, и невдомёк было ему, что у нас разные судьбы.

Приехал он из дремучего леса и, как ему казалось, вырвался в открытое поле, поле деятельности, куда стремился, начитавшись книжек о разной дребедени – поле единомыслия, поле дураков. А я пересёк открытое поле ранних своих лет, где каждый видел меня, где каждому открыт был мой лоб и спина, зарастающая ежечасно знобящим мехом страха. Ещё отец, кривя рот, говорил, как представить себе одиночество:

– Представь, что ты раздет, а вокруг все одеты.

Изматывающим долгим бегом пересёк я это поле, чтобы забраться в чашу, где среди бликов, пятен, теней, тьмы и света, голосов и молчания стать невидимым: вот чем для меня был город, куда я сбежал, вот это я помнил.

– Ты помнишь, как меня оставляли ночевать, когда крыши над головой не было? – спросил он.

– Кто тебя оставлял ночевать? На что ты намекаешь?

– Вишь, как заволновался. Ха-ха. Да нет, успокойся, я лучше в подъезде пересплю, на подоконнике, чем у тебя останусь. Найдутся люди. Есть, наконец, друзья, есть женщины, которые видят во мне в первую очередь художника...

– И ты посвящаешь им стихи, – сказал я, разливая остывший чай.

– Да, – с вызовом произнёс он. – Статейки в газетах не по моей части. За статейки в газетах, может быть, платят деньги, не спорю...

– Почему же деньги, – возразил я. – А любовь? За статейки платят любовью, за статейки долго, бесконечно долго любят на простынях голландского полотна.

– Не думай, что я нуждаюсь в такой любви.

– Разумеется. Тебя устраивает участие чутких, благородных женщин.

– Устраивает.

– Чего ради мы спорим? – спросил я. – Чай остыл...

– Споришь ты, – заявил он. – Мне спорить нечего.

– Мы – взрослые люди, и драка ничего не изменит. Ты защищаешь идеалы, я не защищаю. За неявкой противника поединок отменяется.

– Факт остаётся фактом, – заявил он и забарабанил пальцами по столу.

– Какой факт? – изумился я.

– А такой, что ты сам мне рассказал эту сказку на-днях, а теперь отрицаешь.

– Ты с ума сошёл!

– Пока нет.

– Кто в таком случае сошёл с ума?

– Тебе лучше знать, – холодно заметил он.

– Постой, если я и рассказывал – всё бывает, я верю – о чём была эта сказка?

– Ты в самом деле не помнишь? – спросил он. – Прикидываешься?

– Клянусь тебе, что не помню, – смятение моё увеличилось.

– Это правда? – опять спросил он.

– Чистейшая, – солгал я.

– Тогда почему ты не даёшь мне рассказывать эту сказку! – закричал он. – Я понимаю, я знаю, что ты думаешь обо мне. Дурак, психопат. Вот что ты думаешь обо мне. Ты сам мне прожужжал этой сказкой все уши, а теперь увиливаешь? – На переносице у него выступили крохотные капельки пота. – Сначала слушай, тебе не хватает... Знаешь, что ты сказал? Ты сказал, что мне или кому-то не хватает вечности и потом рассказал эту сказку. Помнишь?

– Конечно, – солгал я.

Что я мог сказать ему в ответ! Я ничего не сказал. Если посудить трезво, отбросив в сторону симпатии, память о прочитанном, – не тревожит ли его то же, что и меня? Поразному говорят об одном и том же, избегают повторяться, будто повторение лишит сказанное убедительности...

Нелепо. Амбражевич поднялся было из-за стола, однако тотчас сел, и тень его качнулась на стене. Как будто ребёнок прочитал незнакомое слово – так птица, шурша, упала в железные тенёта тополей, сургучным оттиском запечатлев безветрие. Стены комнаты оклеили жёлтыми обоями студенты.

Они любили друг друга и съехали в один день. От жёлтого в комнате светлее, а в солнечные дни ещё светлее, от жёлтых обоев. Тень гостя качнулась. Гость – личина. Шкаф горчичным пятном уходил в потолок.

– Ну-ка... ну-ка... – весело обронил Амбражевич. Он не сидел, как мне показалось, а стоял у подоконника. – Ты? Пишешь? Что же ты пишешь?

– Оправдывая себя, придавая значение любому своему слову, жесту, размышлению, придашь, таким образом, значение всем событиям своей жизни... – запинаясь, прочёл он, очевидно, с трудом разбирая написанное. – Хм. Оправдывая... – проговорил он значительно.

– А что ты хотел этим сказать? Ты представляешь себе, *что* хочешь сказать?

– Мне кажется, что для этого дела, – он показал на страницы, разбросанные по подоконнику, – нужно иметь, по меньшей мере, талант.

– Положи на место, – сказал я.

– Одними словами не обойтись, – сказал он. – Искусство требует...

– Я верю тебе, Амбражевич. Ты великий художник, но положи на место.

– Не сердись, – сказал он. – Я же твой друг. И, кроме того, кое-что понимаю в этом. Ты спешишь меня выпроводить?

– Нет. Я смотрю на часы. Я люблю смотреть на часы.

Я сказал правду. Правдой было то, что мне никуда не надо было спешить. Уже неделю мне не нужно было спешить. Там, где я зарабатывал деньги, мне предложили сменить род деятельности. Чем-то я им не подходил. Не пью, не курю, рискованных анекдотов не рассказываю, дамам в присутствии других под юбки не шастаю. Но, опять-таки, мне могло только показаться, а на самом деле я по-прежнему числился в учреждении, где люди (не только один я) в поте лица своего трудились ради куска хлеба и кружки пива.

Правдой было и то, что я никогда не выбрасывал часов, не выламывал стрелок. Не раз и не два доводилось мне замечать у некоторых прямо-таки ненависть к этому бессмысленному стрекочущему механизму. Их, видите ли, до глубины души занимает распря со временем – раздражает стук маятника, пощёлкивание колёсиков, кружение стрелки. Такие вот, как мой приятель, в силу романтической традиции переворачивают их циферблатом книзу и воображают, что избавились от неотвратимости.

А литература? Сколь бесстрашно её герои швыряют, топчут, разносят вдребезги часы, начиная наручными и кончая башенными. Пожалуй, нет ни одной пьесы, в которой не было бы глубокомысленных ремарок вроде: «остановились часы», «часы пробили столько-то раз, и все замолчали», или: «она посмотрела на него и сказала: – Сними часы, забудем о

времени!», или так: «он в досаде сунул часы в карман, но потом вытащил и разбил молотком». За репликами и ремарками следуют пространные рассуждения авторов о быстротечности, бренности, эфемерности существования, и примерам такого рода нет числа.

Не могу я переворачивать их книзу, не могу выламывать стрелки... Не ужасают меня слова: бренность, неумолимость, которые должны призраками мучить меня в вакууме, заполненном ходом часов – потому что тонкая корочка слов способна только напоминать о неких грозных явлениях, являясь спасительной преградой, за которой, приложи ухо к словам, – гул непостижимый кипящей лавы – и что слова тогда: бренность? одиночество? время? часы?

Но, между тем, я тоже не знаю, как быть с часами... И страшными, жуткими кажутся для меня определения времени. Вот говорят: «мы существуем во времени». Говорят другое: бесконечность, вечность... К тому же пришла пора проститься с Амбражевичем. Его не станет. Его, вернее, не стало. Был – и нет. Какая подкупающая простота!

С другой стороны, спрашиваю я себя, не так ли странна и ужасна в своей отдалённости, неизъяснимости царапина на стене, слово, муравей, застывший на коре ольхи, сама ольха или шелковица за ветхой изгородью тёмного кирпича, плющом забранного, ещё зелёным. Дерево, оголённый шиповник, розовато-серые ягоды на узловатых, изломанных сучьях и бурые ломкие листья под ногами тех, кто идёт по мокрой, местами всё ещё зелёной траве, среди стволов, в тишине, где шаги будто вырезаны из звука благороднейшей древесины, и падение капли с горьких окончаний ветвей.

Наваждением, дурным сном предстаёт мир. Кошмаром, который снился мне в детстве и снился разве? да нет, приходил, являлся – так бабушке однажды явился ангел глубокой осенью, но она не знала, что это ангел, а мы смеялись, когда из двери на нас выплыло бабушкино огромное лицо, и на лице её мы прочли ужас, потому что она как раз минуту до этого видела своего ангела, сидевшего на дереве.

А это дерево росло в дальнем конце сада (и почему его выбрал ангел – неизвестно, ведь было много деревьев по-лучше), в самом глухом месте, там не ангелу быть, а, может быть, сослепу бабушка спутала, не ангел сидел на сливе, а... ну, незнакомая большая птица, хотя птиц кровавого, бархат-

но-кровавого оперения не бывает. Ну, просто огромная птица в красных перьях – так ведь не всё перья у ангела, одни крылья из перьев, а он не птица, куда там! И она твердила деду своё, а нам так больше ничего и не сказала, сочла за лучшее молчать, но мы сходили туда и ничего не увидели, только на земле, в траве, нашли очень много косточек от слив, как будто ангел сидел на дереве и ел сливы, а косточки сплёвывал, а потом пропал...

Кошмар мой тоже пропал, но не бесследно. Потом опять приходил, когда я лежал с открытыми глазами, с двумя чужими глазами на лице и ждал, когда начнётся вот это самое – всё, что было вокруг, становилось иным, и каждая вещь, каждый голос, каждый облик: мать, сестра, бабушка, отец, дед – как бы скорлупой становились, не исчезали – продолжали быть, но только скорлупой звучащей.

Прозрачной и непроницаемой преградой, за которой всегда одно и то же (потом, гораздо позже – я говорил уже – мне пришло на ум сравнить это с магмой), то же самое, и это *то же самое*, оставаясь недвижимым в скорлупе привычных вещей, голосов, движений, неслоь, оставаясь недвижимым, куда-то, возрастая до тошноты. Можно сказать, до тишины, но тошнота – именно то. И уже не что-то в скорлупе стула, бабушки, отца, сестры, голосов, а я сам низвергался из тошноты, приближаясь к двум чужим глазам, которые словно оставлены были где-то на утерянном лице, чьём-то

лице, со способностью видеть. В них я угадывал, тогда, что ни конца, ни начала.

У Елисеевского мы приостановились. Собственно, мы не знали, что делать. Наступила, как говорят китайцы, пора разрыва струн.

Я поднял глаза и посмотрел на голубей, бродивших по карнизам. Мягкой волной телесного, оранжевого, белого, голубого с блеском, вкраплённым то тут, то там, – затопило глаза, когда отвёл их от голубей, и тогда я посмотрел вправо.

Сквозь отражение в витрине мне улыбалось знакомое лицо. Нет, не Амбражевича. Его, к сожалению, не стало сорок с лишним минут назад. Давно. Теперь топтал он в хороводе нежный луг, теперь таился он в тени древесной, чтоб смертного дожидаться, живого, и память обрести, напоить. Ну, луг – понятно... хороводы – меньше, но память... зачем ему?

Знакомый, которого я увидел сквозь стекло на фотографии, по-видимому, чувствовал себя неплохо. И улыбка у него славная... Она говорила что-то очень простое, приятное, нечто вроде того, что вот ему, мол, стыдно немного, на обозрение выставлен, но вместе с тем и хорошо.

Я показал на витрину и сказал:

– Посмотрите направо, – (мех озноба мгновенно одел меня с ног до головы, а потом, как вздох сладостный – испарина: простыл...)

– Мой хороший знакомый, очень способный актёр, – (вот если бы малярия, подумал я), – усы, конечно, фальшивые, их выдают на каждый спектакль, а потом, увы, забирают. Без усов он старше и не так нравится. Я его знаю с детства. В юности его мечтой было сыграть Сирано де Бержерака. Теперь он бредит Калигулой. По-моему, он заблуждается, по-моему, он просто путает одно с другим, предполагая, что Калигула – это тот же Сирано де Бержерак, но только для взрослых. Дети до шестнадцати лет не допускаются. Вот он... Когда станет Калигулой, с ним не попьёшь кофе. Ни кофе, ни пива. Императоры не пьют ни кофе, ни пива. Естественно... тебе дают усы, потом у тебя их забирают. Меняется психоструктура, – заключил я.

Хвойные муравьи ползали у меня в животе, ласково тронули волосы на затылке. Бритва дневной звезды – предупреждение, предупреждение, предположение...

Вера стояла безучастно, смотрела мимо. Крепко пахло молотым кофе, маринадом и табачным дымом. Распаренные скандинавы шумно вывалили из гастронома с сетками, набитыми водкой. Группу командированных, голосащих сияющими гласными, будто тараном, разнесли два узбека, пробежавшие с огромным бревном скатанного ковра. Кто-то надорвано звал Мусю. Кофе, чай, узбеки, сельдь, тантризм, солдаты, сплюснутые меж чёрных кругов пота под мышками,

кофе, коньяк, клейкие нити табачного дыма, девка с голым животом и с тряпичным цветком в волосах, аэропорт, переводные картинки, сыр, дыры в пейзаже...

Слишком много всего. А больше всего солнца и дыр, угольных глухих дыр, испещрявших ландшафт. Это изматывает.

В виде длинномордого зверька пришло решение уехать. Почему я должен уезжать? Я никого не убивал, ничего предосудительного не сделал. Обыкновенно разгуливал по улицам, даже не придавая особого значения увиденному, точно так же, как шведы, узбеки, солдаты. Правда, у меня нет ни ковра, ни пятен под мышками, ни визы. Не всё сразу, не всё сразу. Оглянись окрест, сколько солнца повсюду, сколько совершенных круглых пульсирующих дыр.

Нет, нет... Сию минуту, подумал я, сейчас же, на вокзал, билет, а оттуда домой, зубную щетку в сумку и прочь отсюда, прочь!

Зверёк лёг к ногам.

– Деньги у вас найдутся? – спросил я.

– Деньги?... Да, найдутся. Вы думаете мне на такси удобней?

– Такси? – переспросил я. – Почему такси?

– Почему? – удивилась Вера. – Как почему?

– Ах, да... Вы меня не так поняли, – сказал я. – Понимаете, дело в другом: скажем, мы, то есть вы и я, смогли бы сей-

час чего-нибудь выпить. Конечно, если деньги есть. А нам не мешает выпить, – сказал я. – В нашем положении просто необходимо выпить.

– Выпить... – как бы в раздумье протянула она.

– Ну и хорошо, – поторопился я. – Вы предпочитаете сухое? Как-никак жарница, значит, пару бутылок сухого, – но сам я подумал, что если она решит действительно покупать вино, то лучше было бы не начинать.

– Я не успею, – нерешительно сказала она и раскрыла сумку. – Мы сделаем так: я вам дам деньги, а потом вы... Понимаете, мне надо спешить. Я бы и сама с удовольствием выпила, и к тому же: пить – так водку, а не вино. Признаться, мне вина вовсе не хочется, честно!

– С соком, – подхватил я, глотая песок. – Никакого вина, ни в коем случае. Исключительно водка...

Когда-то я пил вино и морщился от одного слова, от одного упоминания о водке.

– Из холодильника, – вдохновенно развивал я тему, – сок в запотевшем стакане, на котором проталинки от пальцев, ветер речной из окна, шторы снежными пузырями, тихая музыка, а потом наступает вечер... ведь так? Теперь, когда всё известно, вы ступайте в отдел, а я позвоню одному человеку. Возможно, мы воспользуемся его гостеприимством.

И я объяснил:

– Он должен уехать, а на летний сезон я обычно перебираюсь к нему. Вот... О чём я хотел сказать? Его наверняка

не окажется, и мы пойдём к нему, то есть ко мне, как бы ко мне, благо тут недалеко. Прохладный подвал, антураж, камень, мрамор... он скульптор, труженик. Но летом там удивительно прохладно и легко дышится... окно хорошее, перед окном стена, очень живописная стена, что-то без конца капает откуда-то, и голуби...

– Мне ваш рай кажется слегка сомнительным, – сказала она.

– От недостатка воображения, – уверил я её.

– Подвал... – поморщилась она. – Мне это что-то напоминает. Не знаю, что... Должно быть, где-то читала.

– Изящная словесность сгубила Россию, – сказал я. – Ну, скульптор, ну, подвал, ну, читали, ну и что?

– Я ещё ничего не успела сказать.

– Выходит, что говорю только я!

– Вам, наверное, нужны две копейки?

«Подожди, подожди, – сказал я себе, – ты ещё попляшешь у меня, великая русская читательница!»

– Две копейки?.. да, давайте. Я не собираюсь долго, узнаю – уехал он или нет. – Во рту давным-давно пересохло, и слова давались мне с трудом. Песок жевал. Жевать-жевать – не пережевать. Будто железные хлебы в дорогу кто-то по доброте сунул в сумку.

– Подвал... – усмехнулась она. – Забавно. И когда всё это кончится! – вздохнула она и шагнула в поток народа, который её тотчас унёс в страшные недра гастронома.

А я положил две копейки на выступ стены, вытащил папиросу, размял хорошенько и прикурил у носатого, вконец отощавшего мальчишки.

– Ну? – спросил он меня участливо. – Ты чего? Ломает?

От неожиданности я чуть не поперхнулся дымом. К мальчишке подошла подружка с рогожным мешком на плече. Плечо от солнца краснело помидором.

– Отсыпать дурцы? – грустно спросил носатый.

Я покачал головой. Они тоже вежливо качнули головами и тронулись, невозможно серьёзные: он носатый и тощий, она толстенная и усталая.

Песок от дыма обратился в цемент. Разжёвывая его, я не нашёл в себе сил сдвинуться с припёка. Никому я не намеревался звонить. Я наврал ей по привычке. Скульптора не было, подвала тоже, к себе везти не хотелось. Но мне нужно было собраться с мыслями и решить для себя: остаться с Верой, последовать за ней или уехать на вокзал и так далее. Но как только я представил себе кошмар, царивший у касс, – общество Веры, любое времяпрепровождение, всё что угодно – начинало казаться мне райскими садами.

Не помешало бы землетрясение, – вскользь подумал я, – небольшой разрушительной силы, баллов в пять. Малярия и землетрясение. Но лучше бы чуму бубонную: чума съела бы мою психоструктуру, обглодала бы её до костей, а кости у меня серебряные – подумалось, – лёгкие, пустые, полые и серебряные.

Пропало желание вообще двигаться с места. Однако предстояло решить: напиваться или не напиваться. В голове отчётливо шумит, как будто шмель тычется в стекло, – не хватает ещё, чтобы кое-кто крикнул: открой окно, он нас перекусает, а что?.. открою, и мохнатый шмель бросится в сад, над ирисами, мимо погребка, а за липой я его потеряю из виду. Не могла на меня повлиять так смерть Амбражевича. Не могла... совсем несправедливо с его стороны то, что я простудился, когда мне болеть не хочется и нельзя ни при каких условиях.

Всё складывалось в пользу пиршества. Благоприятствовало расположение свечей. Одно, впрочем, несвоевременно закатилось.

– Эй? – услышал я знакомый голос и скосил глаза. – Рядом стояли носатый и его подружка. – Тебе нехорошо? – спросила подружка. – Курнёшь с нами? – Носатый отвернулся.

– Нет, ребята, – сказал я, набирая воздуха в лёгкие. – Я – другое поколение. Другие заботы, другие привычки, другие проблемы.

– Понятно, – сказала подружка носатого. – Я это потом обдумаю на досуге. Ну, ладно, поколение, мы пойдём тогда, – и, мазнув ласково рукой меня по носу, повернулась к другу. Я едва не ринулся следом, когда они пошли вдоль витрины, заставленной консервными банками.

Напиваться, безапелляционно решил я. Пропади оно про-

падом! И так, мы, несомненно, катим к ней. Если пить, то пить с комфортом, а консулы наивно щедры в проявлении чувств. И коль скоро я клонил себя к веселью, то веселью быть. Напьюсь я, напьётся она. Может, случится так, что она раньше. И что тогда? Плач на стенах, предчувствие разлуки, «Прощание славянки», воспоминания о золотом детстве?

Я буду её утешать, гладить по волосам, держать за безвольную ладонь, тайком вытирая свою время от времени о скатерть, если будет скатерть там, где-то, где мне быть, ждать, белый песок пересыпать, тонкий песок ветра, ноющий в тонких переплётках рам, – и пузырятся холодные шторы, клубятся, гарью бензиновой снизу несёт, от которой воздух ещё вкусней, ощутимей, реальней, не такой безысходный, как на даче, когда чувствуешь себя ослом во дворце.

Иной раз я по несколько часов воображаю себе некую дачу, куда меня однажды приглашают неожиданно и ласково, чтобы я отвлёкся – так и говорят те, кто приглашает, – чтоб побыл наедине с природой, вкусил тишины, откусил сочный ломоть тишины, и моё воображение не подводит меня. Оно несёт меня по вагонам электрички, выносит на станцию, а после – к лесу, к даче, и уже ничего я не вижу, а просто сплю, и снится мне всякое, только не дача, не лес, не природа, не тишина, но грохот консервных банок, которые привязаны к моему хвосту, и жёлтый оскал кривых улиц.

– Послушай, поколение, мне не хочется оставлять тебя здесь. Пойдём с нами. На тебе печать смерти... – Опять они, цирк на колёсах! Комедианты, не заучившие ни одной реплики.

– Не моей смерти, – ответил я.

– Как хочешь, – произнесла она, и носатый тоже вымолвил какое-то слово и головой кивнул утвердительно, как бы в знак согласия.

– Вечером мы будем возле замка, – добавила она. – Поедем с нами? Ночью мы уедем, – поясняет она. – Хочешь, поедем с нами!

Носатый вытащил из сумки бамбуковую флейту, искоса взглянул на солнце и выдул протяжный пронзительный звук. Я опустил веки и вернулся к размышлениям.

На чём меня прервали? Издалека, неслышно ступая, опасаясь спугнуть что-то, я вставил ещё тёплое, последнее слово в губы – утешение.

Итак, я её буду утешать – остывал воск в воде, утверждались линии, принимали облик некоего существа. Доверие – если хватит на то сил, а потом начну раздевать, потому что она не сможет отличить юбку от простыни, а сандалии – от пачки сигарет, в которой одна-единственная сигарета высыпается, и духота мёртвой чешуей между нами. Ищу определение, чтобы точнее и короче, а каждое уподобление, даже

само состояние, о котором сказать хочу, раздваивается, делится на бесчисленные осколки, – почувствовал, как не могу найти обыкновенной мелочи, незначительной детали, без которой всё слишком скоро вертится, разворачивается без пауз, а мне воздуха набрать, задержать бы дыхание с бензиновой гарью и... восторг... какой же восторг? Как бы всё ни сложилось, я должен хотеть чего-то, что не принесёт мне вреда, не будет болью; и потому, как бы навзничь падая, расставив руки в стороны, а за спиной – не листья, сметённые в кучи, а поребрик. Засмеют, когда расскажешь, что доля времени, неизъяснимая по продолжительности – лабиринт, танец.

Пускай не торопится, долго она там возится. Неужели такая очередь, пока выстоишь и у отдела очередь, и ещё вот что: она там не должна думать обо мне, но думает, потому что очередь и каждое мельчайшее действие, соприкосновение в эти мгновения связаны со мной, и выходит, что она думает обо мне – моё присутствие неотъемлемо. А я думаю про душ. Вот оно что! Раздевать потом, после.

О-о-о-о-о-о-о-о! – кроша цемент в тёплых зубах, – простонал я, вообразив, как погружаю ноги в ледяную ванну и голову подставляю под шипящую струю, пузыри – серебро костей оживает, и никель туманится моим дыханием, и кафель дождливый светлый... и получилось опять – раздевать.

Хочется мне её раздевать? Отнюдь. Сама сможет. Хочется

принять душ, напиться как следует, лечь пластом, сон разглядывая заветный, много их у нас есть в запасе. И не двигаться, покоряясь сну, как те двое, что спускаются по склону к нетронутому озерцу, и лица их кажутся голубоватыми. Ниже липы стоят, скрипят. Всему виной затяжные ранние дожди, от них кирпич ограды чернеет, а был когда-то игрушечно-красным, как на немецких картинках... Гутенберг, Мюнстер, Марбург: ровным, красным, без щербинки, и будто краем одним лиловое небо приклеено к горизонту. Не двигаясь с места, хотел я обнять её и не договаривать того, что начало само по себе говорить здесь на припёке, в ожидании.

Я не желал ей говорить, о чём мне хочется думать. Я пытал свой разум гибелью Амбражевича, мне казалось чрезвычайно подозрительным его внезапное исчезновение, что не так пришла к нему его сестра-смерть. Что-то уж очень фальшивое скрывалось в случившемся, как в спектакле, пускай сыгранном виртуозно... Одни главные роли, будто меня собирались обмануть. И ложь моя наткнулась на ничто. Прежде я спиной опирался на вековечную стену – «подлинность смерти неоспорима, – говорил я себе гордо, – откуда сомнения! Несуразные колебания... смерть подлинна и неоспорима».

Как же так?.. Труп стоит больше живого? О мёртвых не говорят или говорят хорошо? Неписанное правило. Право мёртвого быть абсолютно правым. Это мне не нравится. Я простужен. Просквозило где-то. Здесь, вероятно, смерть пу-

тает одного литературного героя с другим. Но никто до сих пор так и не сказал – что такое смерть.

Мёртвые снятся. Мне грустно видеть их во снах. Они что-то умалчивают, не договаривают, они снятся, убеждая меня, что ничего не произошло, что всё нормально, как было, как раньше. А я не верю.

– Разве трудно поверить, что я перед тобой? – говорит Александр, и кто-то далеко ему вторит: смотри, ты говоришь со мной, ты видишь меня, я навещаю тебя...

– Что же там с тобой сделали? какой ты там? – вырывается у меня, – На земле я знал тебя, я привык к тебе: неужели и там так же...

– Хм... не стоит говорить об этом, не затрудняй себя, твоему пониманию тоже есть предел, прости меня, но разве мало того, что я здесь, и ты беседуешь со мной, а, в сущности, и то, что ты спишь, пусть тебя не беспокоит – так легче, днём у тебя времени не найдётся...

«Что представляют себе мёртвые, когда слышат слово *смерть*?»

Холодным взглядом, тщательно и беспристрастно я прослежу неотступно за каждым действием твоим. Промысел ли Божий меня волнует? Отнюдь. Влечет неизвестная черта, та линия, которую преступает человек, когда он ещё человек, но и труп уже, когда человек движется к себе мёртвому. Ме-

ня интересуется не мифология смерти, но её география. Возвратимся к недалёкому прошлому.

Вот он – увлечённо размахивает руками. На правой, на безымянном пальце, поблескивает кольцо, и он щурится от низкого, плоско стелющегося, почти живого света, голову поворачивает и рассеянно замечает то, что при желании можем видеть мы, – равны мы в языке и в зрении – гладь канала, подёрнутая радужной плёнкой разложения, вода, в воде кожаное кресло с вылезшей пружиной, погружённое глубоко, облепленное мазутом. Лодки, в которых качаются, – сверху маленькими, смехотворно цветными кажутся люди, движения которых издали и сверху вполне бессмысленны, доносится хохот, песни, обрывки разговоров – как прост язык наш, сколь просты наши чувства-вещи, а ещё проще – зрение!

Он взглядом скользит по небу, вдоль палящих нитей июльского солнца, видит женщину, идущую рядом, тело её, чудесным образом оснащённое для любви, восторга, видит тёмные круги пота под мышками (и солдаты тоже оснащены прекрасно для любви), груди, лежащие свободно, подрагивающие от ходьбы, ухо в веснушках, опутанное ржаной прядью волос, и голос – они ведь говорят о том, о сём, о летающих тарелках, о дороговизне, о планах на завтра. Глядя на воду, он замечает очертания домов, предлагает перейти на «ту сторону». «Пива выпить». «Жарко». «Устаёшь за день».

Ах, медленней! Я умоляю вас, во сто крат медленней, я прошу вас – мне не заметить, мы приближаемся, несовершенно зрение, в котором мы равны. Я только знаю, предполагаю... Здесь вечность. Машина появляется, вот она. Отчётливо за ветровым стеклом виден шофёр. Он в белой майке, раскрывает рот, съезжают вправо руки на руле, сладчайшая дуга томления, тело водителя нелепо отпрянуло налево, долгий вдох и выдох, подводящий живот, – бампер вливается в поясицу узким потоком накалённого никеля и дробит, пробивает путь ктому, что покуда дремало в теле, к зародышу, к смерти. О, где душа твоя, Амбражевич! Пуст воздух.

Я не заметил здесь никакой черты. Я ненавижу мёртвых, я ненавижу голубей.

– Как ваш скульптор? – спрашивает Вера.

– Милая Вера, – сказал я, – наши дела обстоят – хуже некуда. Скульптор остался в городе, пребывает в своём подвале, ваяя поэтические головы в два человеческих роста. И потому было бы вовсе неплохо, когда бы вы пригласили меня с собой, куда угодно, к кому угодно. Мне нездоровится... И в самом деле, у вас должны быть подруги, школьные друзья, наперсницы, с которыми вы делите тайные думы, горести и радости! Я знаю, знаю... Должны?

– Горести и радости, – нараспев произнесла она, – я делю со своим женихом.

С некоторым недоумением я взглянул на неё – уж не сме-

ётся ли она надо мной. Между тем хотелось сказать что-то про волосы, которые оплели её ухо, падая спутано к шее, к ключице, где родничком незаметным билась тонко какая-то жилка, – там покой, думалось мне, где-то там глубоко в ней течёт размеренная кровь, омывает её, и она – как бы берег своей крови, а на берегу покойно, просто, безопасно. Вот и волосы её на берегу порыжевшей порослью, и глаза, темнеющие глубоким солнцем, и вместе с тем ей невыносимо скучно стоять с человеком, который невесть откуда свалился, и зачем с ним стоять? – муторно, нудно, может быть, даже страшно с ним оставаться – хорошо, что люди кругом спуют – не было бы его, осторожно всплакнула бы от нежной жалости, а так – свидетель, очевидец, соучастник рядом стоит, пялится, и потому не вздохнуть легко в смутной печали, а, напрягаясь, поворачиваться от солнца и отвечать, а на сердце точно жаба чёрная положена...

– Конечно, страшно ей, – думал я, – смерть для неё как бы личная обида, и нет ей дела до меня, а мне подавно.

Помолчав нужное время, я сказал, прибегая к незамысловатой уловке:

– Хорошо, что вы напомнили, – у меня, оказывается, вспомнил, на сегодня кое-что намечено. Мелочи, пустяки, но, согласитесь, никто за меня не станет ими заниматься.

– Обидно. Мне по казалось, что у вас никаких дел. Просто удивительно! – воскликнула она. – Как всё глупо! Вы ме-

ня приглашаете, потом отказываетесь под предлогом мифических дел, будто бы я не знаю, что у вас никогда никаких дел не бывало. Ну, перенести-то их возможно? На завтра? Неужели так срочно?

Поправь волосы, приведи в движение руки, пускай они дотянутся, вмешаются в невесомую путаницу летучей сухости – и тогда я пойду с тобой куда угодно, и тогда делай со мной всё, что захочешь, я буду только молчать, представлялось мне, не произнесу ни слова.

– Что вы! Чрезвычайной важности... Видите ли, мне необходимо к пяти часам быть на телевидении, – хотел бы я знать: где мне нужно быть. – В пять заседание комиссии, просмотр и прочее. Сдача моего спектакля... Они не знают, что делать – не выпускать жалко, выпускать рискованно. Одних денег пропасть ушла. А чего Смоктуновский стоит! Вы не подозреваете, чего стоит Смоктуновский! – Резким властным движением я поднёс часы глазам. – Времени в обрез, – заявил я. – Не взыщите.

– Тогда... до свидания, – проговорила она и тихо, как на сцене, в сторону – дурак, дурак... – и потом, – плохой день, правда?

–день, день... – машинально прибавил я.

– Что вы сказали?

– До свидания. А что, невнятно?

– И вот водку возьмите с собой. Не пить же мне её в одиночку.

– Ну, вы это оставьте, – сказал я. – Охотники найдутся.

– Всё равно возьмите, – повторила она. – Вам хотелось, не мне, вот и берите, – и она протянула мне пакет с водкой.

Солнце блеснуло на чешуйке крышки, ударило в глаза, одновременно погружая в жёлтую муть здания, чёрные витрины, автобусы. Явления ложной памяти, нашёл я, и это уже было когда-то, но тогда было не горлышко, не жестяная фольга – сверкнуло что-то другое, повергая меня в дремоту неизъяснимой свободы.

– Сатори, – с трудом выговорил я. – Погодите, – и без колебаний продолжил: – Так не годится. Мы сделаем следующее: коль скоро у меня случилось просветление, то ни о каких делах и речи быть не может. Поищите у себя две копейки. К сожалению, я вышел безо всяких денег. Сейчас мы всё разузнаем, – заметил я, поджидая, пока она выудит из кошелька монетку.

Не прекращая всхлипывать, Вера вытащила двухкопеечную монету и протянула мне. Телефон был рядом, и я понял, что мне на самом деле предстоит кому-то звонить, чтобы не прослыть лгуном и злым обманщиком. Я набрал номер и, теряя от духоты способность соображать, спросил:

– Ты ли это?

Хотя я спросил не так, а по-другому:

– Ты? Это ты? Говори громче. Ничего не слышу... ты, спрашиваю?., да, это я... узнаёшь? кто же ещё. – В трубке пело, трещало, шипело и невнятно, едва слышно говорило. –

Нет... Нет, говорю, не уезжаю. С чего ты взял... Ты не уезжаешь? Говорю, ты не уезжаешь?! Кто не уезжает... говори ясней.

– Ближе трубку держи, ничего не слышно! – заорал я. – Что воплотилось?.. Был на просмотре? Не понимаю... кто? Я спрашиваю: кто новый Бергман! Не ты? рад за тебя... да... да... да... бездна современной психики – аналитичность, понимаю... Ближе трубку. В этом есть своя положительная сторона, безусловно... Нет, спасибо. Благодарю... нет двух копеек. Говорю, ничего не нужно. Нет, ничего не нужно, кретин. Да, решил услышать твой голос. Привет.

Когда я вернулся к Вере, у меня создалось впечатление, будто я никуда не уходил и мне предстоит опять с ней разговаривать, просить две копейки, набирать номер...

– Вот такие дела, – сообщил я. – Концепция творческого реализма возобладала в последнем акте с необычайной силой. Я свободен. С этой минуты я становлюсь вашим бесшумным спутником. Мы будем долго жить и умрём в один день.

– Неужели вы не можете помолчать? Хотя бы минуту помолчать! Неужто это вам в тягость? Сделайте одолжение...

Если на то пошло, мне совершенно перехотелось разговаривать. Пускай ведёт меня куда вздумается, пускай ставит под душ, снимает одежды, укладывает в постель, рассказывает о первой любви, о первых поцелуях, о школе, мечтах – она

мечтала стать танцовщицей, пианисткой, капитаном дальнего плавания – и о первом мужчине, и о том, каким подлецом он оказался, а мне не понять уже что к чему? Очертания даже пустячной, и не мысли, но и не слов, а чего-то, что как бы находится между ними, без чего не понять и чему не подобрать ещё имени, расплывались... очертания, сомнения?

Оно, по-видимому, находится между мыслью и словом, его нужно преодолевать всякий раз – не сдерживали его, и оно росло, непомерно росло, пугающе унылое дерево, не могущее вынести веса собственных сучьев: уже прогнили, неразвитые, не выпрямленные, прогнили и рушатся с коротким треском, и опять оседает пасмурный небосвод, отчего не уяснить: близко ли небо – рукой ли достать можно – или высоко, как и надлежит быть небу.

Думаю – не думаю, иду – не иду, плачу – не плачу, смеюсь – не смеюсь... Уходим, уходим. Машем руками.

А за косогором, если некоторое время идти прямо, а потом сразу же спуститься к реке, мельница стоит. Не ветряк. Водяная мельница. Где ты был?

Любуясь сбоку, устремив взгляд, – ему не хотелось говорить. В том-то и дело, что он – это я, постоянно я, и только очень редко он. Обычно, когда приносят телеграммы, повестки, распоряжения – он. Не я. Во всех остальных случаях – я, вплоть до немоты корявой, до мычания; и всё равно я.

Мне не хотелось говорить. Рискаю потерять свою знакомую, с которой шли бок о бок и шли куда-то, куда – меня не особенно интересовало, и с которой, говоря откровенно, меня связывало лишь одно, весьма небольшое – утренняя встреча.

Когда, помнишь? Они весело улизнули от меня, свежие, исполненные надежд и благодати заурядного бессмертия, каждодневного бессмертия. Радостно словоохотливые, от чего у меня испортилось настроение. Надо думать, что от обыкновенной зависти: ничто человеческое мне не чуждо, а когда беспечно теряют тебя, рассеянно теряют, как ничего не стоящую безделушку, – соринка в глазу докучливая. Почему бы и не позавидовать лёгкости, с которой это делается.

Потому что будто нет пространства, той бездны между *тут* и *там*. И в речи равны мы: язык утаивает, скрывает подлинное и не подлинное, и потому равны. Кому охота копаться во всём этом, если спустя секунду не нужно это, а нужно другое; и в речи ещё живы, покуда живы.

Замолкая, рискуем потерять друг друга, какя свою новую знакомую, с которой ничто не связывает: утренняя встреча, ещё что-то, чему я не был свидетелем... помнишь? И я решил не говорить, так как не знал, о чём.

Стоял сентябрь, светлый сухой месяц, пронизанный сирым серебром паутины. Паутина цеплялась за акации, прилипала к лицам, рождая в спине холодок, таилась в женских волосах, обвисала густыми прядями на бурых шкурах чертополоха. Да, да, сентябрь стоял – на тёмно-лиловой кофте китайца лежала паутина, словно улитка ползла, и след её ещё мерцал и стрекотал, к плечу доверчиво прижавшись. Кто-то с рисовыми крыльями блаженной белизны, будто книга сушилась на крыше под солнцем, жужжа страницами, волной носящая листы то вправо, то влево, и китаец, многозначительно подняв указательный палец, протягивал другой рукой мне книгу... и что-то говорилось о рыбе Гунь, которая обращается птицей Пэн, вздымающейся над океаном столь высоко, что представляется облачком лазури на лазурном небе – и облачком лазури кажется ей внизу земля. Внизу? Вверху? Мы позволим себе выяснить... внизу, вверху...

Сентябрь, мой друг, сентябрь.

И главное, не спешить. Дети помешали. Из пролома в заборе высыпали дети и крик свирепый с трещинками визга: – Ходя косой! Ходя пришёл. Ходя косой, босой.

Глиняным ноздреватым грохотом в рыжих оползнях лета разъярённая телега продвигалась вдоль. И он – это я, я, я,

я! – проснулся, нет, очнулся, отметив с удивлением, что сомнамбулой тянулся к перекрёстку, где в колючем венке скачущего хора кто-то стоял, замкнутый глубоко в скулы.

Итак, акация, бестенное сияние – потому безвольно клоунался металлический шар перед глазами потом, когда в шутку, на пари, товарищ загипнотизирует по прошествии многих лет, от скуки, от дождя: лампа выпукло сверкнёт, и покрывало горячее ринется сверху.

– Твоё счастье, что ты не с ними. Но коль скоро застанутебя за подобным... – королевское мановение руки, и вот пурпур струится по согбнным плечам:

– Отец, какое царство мне оставлено, что наследую? – Рука обводит разбитую дорогу, акации, райскую яблоню. И труба играет, слепой с мешком за плечами, последний трубач покидает стены, и его тоже обводит рука с волосами до локтя курчавыми, седыми, калёными.

– ...спущу шкуру, – слышу я голос, о котором не могу думать без любви и страха, и, вдобавок, непонимание, кружащее голову, сладчайшее недоразумение за голосом – отражением моего взгляда – ах, щенок, щенок, это же сентябрь, смотри, вглядывайся, учись...

– Ступай чистить смородину, помоги Соне. Они с матерью замаялись.

– Сами надумали.

– Не пререкайся. Сказано – ступай!

Каждое дитя в этом мире – царское дитя, и каждому из них предстоит сума, посох и плащ дорожный, вечерний – нет дома, обуглены стропила... ах, чадо моё, дружок мой давний, щенок – это же сентябрь! Постигай пути времён года.

Как раз незадолго до этого бабушке виденье было в саду. И дед, вслед ей, грузной, отяжелевшей всей землёй ночной и полуденной, толстой, – вслед с крыльца, цепко глазами провожая, поджав под себя ногу в полосатом шерстяном носке, выпуская дым, шёпотом стальным под отвесными, изрытыми увяданием коврами дикого винограда и в сторону единым выдохом и дым, и шёпот:

– Придурь бабья... никому покоя.

Но отец – как будто ничего определённого не произошло, словно не замечал, как дед, единственный его собеседник, рвал на себе ворот любимой застиранной сорочки худым прокуренным пальцем, на котором ноготь древним напывом янтарным, копытом расщеплённым. Отец – нет, не выказывал признаков недовольствия. Внимателен был к бабушке: и вечером, и потом, как ни в чём ни бывало, предупреждая любое её желание (а мы думали, назло маме), казалось, нарочно – ну, что за удовольствие доводить мать до неистовства галантным равнодушием!

Раньше мимо всего проходил, а теперь с участием, со смирением вслушивался в бабушкин торопливый говор, точно каждодневно слушал такое и привык снисходить. К нам, де-

тям, чужие так с жалостным вниманием почему-то относились.

И яростно взлетало посудное полотенце над столом, грохотал отодвигаемый стул, или в сердцах что-то швыряла, когда, не выдерживая, ощущая, что над ней посмеиваются... Чувствовала, что масла в огонь подливают, но ничего не в силах была поделаться с собой. Уходила, сдерживая себя, чтобы не закричать от бессилия, уходила в спальню, запирая за собой дверь, подобно тому, как в воду чёрную от прибрежных деревьев входят спящим днём. Ставни всегда в спальне от солнца притворены. Не знаю, плакала там она или нет, или просто лежала, прислушиваясь к голосам. Уж очень её раздражал бабушкин ангел, потому что, как повторяла она неустанно, пользуясь любым случаем:

– Бабушкино упрямство и капризность перешли все границы. Все старые люди капризны, но надо знать предел, не одна живёт.

Хотя на самом деле боялась, что-то её страшило в этом всём, угрозу чуяла и не хотела... Только мы не догадывались, куда там! Но отец знал, потому-то подсмеивался, учиняя фарс одному ему понятный. Смерть вошла в дом, впрочем, и раньше бывала она, но чужой была, а теперь...

Отец должен был знать, и дед знал, закидывая голову в очках, натягивая кожу на кадыке, уверен он был, что если не к смерти смута в доме, то к переменам дурным. Однако ни слова явственно не говорил, лишь шёпотом витым, по-

добным пружине накрученной стальной в часах, для себя, ни для кого больше.

– А это молчание? – пальцы с хрустом сцеплялись на груди. – За какие грехи! – кричала мать из комнат.

Или стремительно входя со двора, куда мгновением раньше выбегала с полным решето кукурузы для кур, но так и не опорожнив его. Колесо старого золота, в ободке гулком тёмного воскового дерева, то самое, что привезла однажды бабушка, перед тем похоронившая в Шушинцах свою тётку Марию, ворожею, завещавшую ей решето. Оно вначале в сундуке хранилось среди засушенных цветов липы, чистотела, зверобоя вместе с коробкой жестяной, где дребезжали зубы прадеда, прабабушки, сверстников, и скрюченная оправа от чьих-то очков, и стеклярус. Но больше всего цветов, зёрен, стеблей, вербы свяченой – её в воробьиные ночи вешали над порогом от грозы, молнию отводили.

А вот решето не следовало туда класть, потому что нечистое оно было. Не могла никак умереть тётка Мария, пока не передала бабушке. Его брать никто не хотел, чуть ли руки за спину не прятали, шарахаясь, а теперь кур кормили, муку просеивали, да-да, дела...

– Ну, что вы могли видеть! – не унималась она, обращаясь к бабушке, а мы, голос её пронзительный слышав со двора, застывали, кто где был.

– Это вы-то могли видеть? Не смешите меня. Смех один!

– Какие дал Господь глаза, такими и смотрю, – резко отвечала бабушка, ножом мелькая сточенным, плача.

– Матерь Божия! Да этого же конём не объехать! – восклицала мама, хватая с табурета сито, бросаясь к дверям, просыпая на пол жёлтые зубы кукурузы.

– Картошку чистить не спрашивает, какие у меня глаза... – продолжала бабушка, мелькая ножом, роняя спирали цвета слоновой кости под ноги, мимо ведра, и там они, влажно оплетали её щиколотки. Не видели её слёз, не слышали...

– Почему все нервничали? Не знаешь? Из-за чего! Недоумевали мы, изумлялись, и весело нам было – владения жизни, угоды нашего полузабытого существования неизмеримо расширились. Пьянели мы, невидимо и бесшумно, а, главное, безнаказанно, проникая в области, бывшие ранее для нас недоступными, строго-настрого заказанными...

И в первую очередь к чулану неодолимо тянуло, где из вороха старого тряпья торчал приклад дедовского ружья, пахнувший церковным запустением и усталым временем. Никогда не пойдёт на охоту; ни диких селезней, ни черноголовых диких уток с изумрудным отливом на шее, ни зайца по первой пороше не принесёт. Леса отдалялись от города, а дед отдалялся от той жизни, в которую входили беспечные пиры на дворе до глубокой ночи, друзья, засученные рукава на жилистых руках.

По обрывкам разговоров, по слухам невнятным, составлявшим неотъемлемую часть домашней жизни, по обмолвкам, а то и по обыкновенным рассказам (почему-то вдруг отменялись принятые ранее предосторожности), по шёпоту, по тайным чертам усмешек, молчания, которое читали в совершенстве. Знали, что из ружья, а ныне оно покоилось у стены в комьях ветоши и хлама, и лишь приклад торчал, – он застрелил родного брата.

В другом доме... как знать! Возможно, в нашем. Мы думали – в нашем. Мы воображали, что всё произошло в нашем доме. Вон крыльцо, вон дверь, вон стол, а у окна яблоныя – когда каким-нибудь вечером, затаившись за креслом, слушали.

И вновь разговор возвращался к деду и к тому времени, неизбежно приходил к своим истокам, а Соня, будучи постарше, держала меня за руку и сжимала её очень больно, а я не шевелился, чувствуя, словно животное, почти плотью – могучую защиту неподвижности. Странное это ощущение – восторг от того, что незрим, упоение от того, что есть ты и нет тебя, для себя есть зрением и слухом, в себе, но не для других.

И дальше – вот он убил брата своего и сумел выпутаться, хотя, видно, это входило в его планы: выпутаться... Ну, и что с того? Видели мы изо дня в день доверху заложённое кирпичом окно в сарае, куда он уходил каждую весну на всё лето, до первых холодов, чураясь всех, кроме отца. Видели мы стену, возводимую с неукротимым упрямством, – бесплодную, ненужную, не ограждавшую ничего, не укрывавшую никого, поистине корабль в пустыне, разрушение, возводимое с упорством обречённого. Даже за наказание человек должен бороться, говорил иногда отец, думая что-то своё.

Возвращался ли его угрюмый дух к событиям тех дней? Тело, невесомый вестник, было свободно... Возвращался ли

его угрюмый дух к событиям, происшедшим в другом доме (а до того дома – ещё один дом, вереница их необозрима), задолго до нас майским утром? Вот он сидит на крыльце. Вот он уходит по дорожке, вымощенной кирпичом. Крыльцо обязательно представлялось нашим, теперешним, на котором по утрам отец, навесив зеркало на старые лозы, яростно и мерно брил голову. Крыльцо с тремя ступеньками серого гранита – справа решётка для ног, залепленная окаменевшей грязью, и яблони опускают ниже ветви, клонятся долу, роняя лёгкий цвет наземь, и серебряное кольцо на отцовском пальце мягко вторит отблеску бритвы.

– Первым белый налив расцвёл, – обнаруживаю бабушкин голос. – Сливы уже посыпались, вишни принялись цвести.

Рассказывает, но и не рассказывает, скорее повторяет тысячу раз сказанное, всем известное – на все времена годится весеннее цветение, память о нём. И льнёт душа к любому упоминанию о древесной жизни и о воде, в поисках робких бессмертия, просит у ней защиты, пристанища: весна, лето, осень... Много раз, год за годом всем известное рассказывает, не отступаясь, сродни птице, описывающей круги над гнездом, где птенцы её удивлены некой тенью. Неведом ещё им испуг, – а она знает, что означает эта тень, неожиданно застывшая в прыжке. Знает ей цену.

Так бабушка ведёт нас ближе и ближе к тому дню. Все, за исключением отца – он спиной сидит, книга на коленях

раскрыта, скошенный жёлтый край света на сложенных руках. И сама бабушка, и мать, притихшая с картами в руках, подобно тому, как падает к вечеру ветер, замирает, едва шевеля листву на верхушках акаций, и мы с Соней – приходим в сладостное жуткое оцепенение, в страстно-безмолвное переживание того, что минуло давным-давно и уже нереально, но зыбко, как в дремоте, являясь между тем несомненным свидетельством нашей жизни.

Какая она? – возникая вновь и вновь в затверженной речи, в повествовании, с которым сопряжён нерасторжимо образ деда. Видим и его в узкой жёсткой койке, под шерстяным выбитым одеялом, за заложённым окном в глубокой тьме, лежащего безмолвно в клубе табачного дыма: спит, не спит...

– ...Он уже потом, когда из... – пресекается голос, чтобы не слышали, чтобы не знали – оттого обращается она в сухое дерево – если мы здесь где-то рядом; потому лишь один шум сухих губ обескровленный доносится, и в нём читаем, как в страницах, выцветших от огня.

– Когда из тюрьмы пришёл, признался, что думал об этом всю зиму; когда мимо дома его ходил, не зная толком, зачем ходит. Но там, сказал он, стало понятно, что делать, надумил Господь его, значит...

А что ж я не помню того, как он пришёл и сказал: «убью его»? Шапки не снял. «Я долго ждал, – сказал он, – но выходит, что, кроме меня, этого никто не сделает, Ганя. А в

Страшный суд я не верю».

– Замолчи, – оборвала я его. А он: «Ганя, не зли меня, Христа за ради, хоть теперь не зли. Ты меня знаешь!» – «Да, я тебя знаю, – ответила, – я тебя ой как хорошо знаю».

И лёгкий нежный переполох просыпается в её голосе:

– Кажется, дети? Не спят...

– Вы ещё здесь? – спрашивает мать, вглядываясь утомлённо в глубокую тень, где мы замерли. – В постели, живо!

И вот уже из комнаты другой, из-под двери, где дверь не доходит до пола, – так приезжала мама из стран далёких, краёв, наполненных чужим, откуда черпали мы всё, что придётся, для будущего, – пыльной полосой свет оседает, а за его чертой, подобно в круге чистом соли выются голоса то жалобами, то твёрдым нареканием. Вот убил брат брата – потом только, как комментарий, составленный гораздо позже; при чтении наткнёшься: «будешь возделывать землю, не станет более давать силы для тебя, ты будешь изгнанником и скитальцем». Не вырваться из круга! – много лет спустя – воскликнешь: «Убил-таки!»

Больше всего волновало, томило, что не пески аравийские, не стада овечьи, не солнце палящее над Иерихоном, а вот – белый налив зацвёл, вишни занимались утренним розоватым огнём под перистыми облаками, повидавшими и степи крымские, и Чёрное море, под облаками неторопливыми, высокими... И как он смог! Как осмелился обнаружить

родство своё с землёй, с древними пустынями, мёртвыми колодцами, с праотцами, схожими со страшными изваяниями на путях могучей памяти. Где взял силы убить? Мятаж? Соумеваюсь. Считаю – следование неким законам, верность им.

Кого, тоже знали, твёрдо усвоили – брата из-за бабушки, то есть не из-за неё, конечно, а за того призрачного, бестелесного её брата (как всё непоправимо замешано, скручено), на земле бывшего скрипачом, учителем рисования, нежным меланхолическим шалопаем. Мог бы преподавать и другие науки, но получилось, что пение да рисование выпали на его долю. Мало, скажут, для того времени. Да нет, хватало. Хватило, словом...

Откуда они? Спроси меня, откуда? Из Белоруссии. Так уж дела пошли, что здесь появились. А родители их кто? Где были? О, не спрашивай... далеко! Где-то там, а где – пальцами прищёлкнуть липко – есть ли разница в том, где были они. А кто? Не знаю...

Эти вот – люди взрослые, рассудительные; сразу видно, что и работать могут, не зазорна им работа, и постоять за себя, в случае чего, постоят. Мужчина он или нет, в конце концов! Ах, да какой мужчина, оставьте!.. Ветерок в пёстром жёлтом галстуке, перекаати-поле, себе на уме. Ну, и поселились.

Только и всего. Бог в помощь. Бабушка замуж в скором времени вышла; оба на фотографии красивы, горбоносы,

лёгкие телесно – молодость как-никак, а Бронек, её брат, устроился детей в новую школу учить пению и перспективе: это значит, когда удаляемся – меньше и меньше становимся для того, кто вслед смотрит, но другое взамен вырастает, больше становится в свою очередь, вразумительней, потому что такой закон...

В школе голова мраморная стояла в шкафу застеклённом – ученики лукавые, бродяжки, с кладбища католического стянули; заброшенное кладбище то было, а хоть бы и не заброшенное? Какое нам дело до мёртвых? Лежат спокойно, не тревожат, ну, и хорошо. Непонятная, между прочим, была голова и неизвестно кому принадлежала: херувиму ли, отроку без вести пропавшему, отроковице ли, в кисейных платьях ходившей, косточкой вишни подавившейся, – о, матушка! А может быть, от богини античной осталась? Голову дружно рисовали, подпирая её камешками для устойчивости, краем уха слушая негромкий свист учителя: на столе, на подоконнике сидел, то тут, то там, ногами болтал, пятый прелюд насвистывал.

Свет ты мой зелёный! Мир окраинный! Повсюду красота – от неё эта боль щемящая, всегда весенняя, неизбывная!

Вот, а Бронек в обиде на бабушку был, выясняется. Так? Или не так? Отчасти так, конечно, скрывал, не подавал вида, но что-то не ладилось между ними, а дед невозмутим был, когда не в командировках, а дома находился между рейсами, и так же трудно было угадать его мысли тогда, как и теперь. Что думал он, допустим, лёжа в сарае, слушая, как осыпается цемент по стенам? Песок разве? И осы ли в гнёздах шуршат? Или то Эринии в водосточных трубах гудят?

Обедали вместе. Одно название, что обед. Но нелегко поверить, что Бронеку приятно было за столом в обществе деда. Тяжелый он был человек, и бабушка постепенно, как водится, перенимала многое от мужа – немногословной делалась, с каждым разом ближе к переносице брови сдвигала, но эти-то брови и смешили её брата. А когда человеку смешно, почему бы ему хоть изредка не дать себе волю, не расхохотаться от души? Не отвечал дед даже улыбочкой, а Бронек злился на бабушку, однако ни разу не попрекнул её выбором – да, да, не ладилось что-то... Если на то пошло, какое это имеет знание? Молчал дед, потому что уставал. Играл Бронек на скрипке, учил детей рисовать яблоки и мраморную голову без признаков пола, книги читал по вечерам у окна в своём доме. Ответа не было, темнело, книгу откладывал, просто сидел у окна – дурманом клубился запах жас-

мина, ещё росли петунии перед окном, и книга рядом лежала бесполезная, ибо не хватало света, чтобы разобрать написанное, да и в душе света оставалось меньше и меньше.

Из книг тех осталась одна: «История французской революции» в кожаном тиснённом переплёте с неперменной урной, копьём и Марсом. Все остальные книги разворовали в войну румыны.

Ещё одно небольшое замечание: у деда тоже был брат, Пётр, души не чаявший в нём.

– Нельзя сказать, что плохой человек был, – замечает бабушка. – По-своему добрый человек, о вдовах пекся, евреев не трогал, иногда муки мне приносил, когда деда подолгу не бывало. Чего там! Человек как человек, похуже бывают.

– Правда, Бронека ненавидел, по всему видать было, но... Тут я Соне на ухо быстро так, чтобы не пропустить ни слова:

– А ты бы женилась на Бронеке?

– Да, да... Надо говорить: не женилась, а вышла замуж. Но не мешай, слушай, сейчас он придёт...

– Кто?

– ...и на меня косился, поглядывая ненароком, показывал, значит своим видом, что равнодушен, нравлюсь ему. А когда Бронека заставлял – прямо беда, ну, как с ума сходил человек. Прищурится вот этак и говорит каждый раз, одно и то же говорит, ртом усмехаясь: «Счастье твоё, что мы до

Варшавы не дошли. Эх, уж точно, что счастье! Тогда бы ты узнал у меня Францию!» – лицо смуглое, а глаза белеют, белеющие такие, и зрачки крохотные, с маковое зернышко. Это когда Бронек перед тарелкой книжку свою ставил. Что вы себе думаете? – он и в шляпе ходил, галстук завязывал назло, франтил, а уж как я его ни просила, ни умоляла людей не дразнить! Злые все были, обозлились очень: не шутка сказать, война... а голод? А он себе знай одно: фьють-фьють...

Вот прикроет, значит, Пётр глаза свои белые, нагнёт голову, как тот волк, и прямо пьяный, смотришь, никакого рас­судка у человека, – и снова Бронек: «Если бы, – говорит, – не мой любимый единоутробный брат Савва, я бы тебе показал, где раки зимуют! А, пан Бронек? Знаешь, где рак зимует? Ох, не знаешь... А волк смолёный, знаешь, как пахнет? Шляхетный пан Бронек...»

И деду я говорила, сколько раз говорила, но деду говорить, как в лес кричать. Молчит, не отвечает. Вздохнёт и молчит. Не раз я его предупреждала, чуяло сердце, что не кончится наше житьё добром, не миновать лиха... Послушает дед, послушает, и всё как было, по-прежнему. Правда, у него свои неприятности были. Творилось тогда Бог вещь что; не уследить, с какого бока напасти ждут, да и сам он не охоч был до рассказов, а я не спрашивала, боялась. Вы деда знаете. Но у кого беды не было? И если не было, то ещё хуже – ждали её, и она ждала... Тут добра ждёшь, бывает, изведёшься... да какое там добро! Сцепятся, подумаешь, по-

реши́т один друго́го, не спасёшь, управы не найдёшь. Пётр, тот при власти состоял, силу имел, прислушивались к нему, а пожалу́йся я кому? Чепуха одна. Ну, так Пётр только и ждал, по нему видно было.

Так оно и вышло. Пришёл однажды Бронек в воскресенье, а уже осень начиналась, я огурцы солила, из лесу вернулась как раз перед ним – по дубовый лист ходила; и деда, точно на грех, не было дома. Постоял Бронек, посмотрел – я чеснок затирала – подошёл близко, обнял меня ласково и говорит:

– Что-то плохо мне, Анечка, неладно... Смотрю на детей в классе, а они как скелеты щерятся. Голову с кладбища приволокли. Тошнит меня... здесь, – пальцем у виска покрутил, а я не обращаю как бы внимания на его слова, спрашиваю:

– Струделя хочешь, Бронек? – вид делаю, значит, что не понимаю, не слышу, про что он говорит.

– Мёда осталось немного, – продолжаю, – а струдель у меня в печи стоит, в одеяло замотала его, чтоб не застыл, как знала, что придёшь. А то с малиной? Муки мне принесли вчера...

– Пётр? – тихо спросил, а в ответ я ни слова. А хоть бы и Пётр, подумала, не лебеду же печь всё время... И как подумала, смотрю, а злыденный тут как тут.

В калитке стоит, глазами мрачно так играет, исподлобья глядит. «Ну, вот, – слышу, прошептал Бронек. – Рано или поздно...»

– День добрый, люди, – в калитке говорит Пётр и направ-

ляется к нам. – Шёл мимо, шёл и думаю: дай загляну к брату, проведаю, узнаю – не надо ли чего семье его... А вот и наш Бронек, – папирочку отцепил от губы.

– Простите, пан Бронек.

Нарочно поправился и ни с того, ни с сего вдруг поклонился ему в пояс, а разогнулся – трясётся от злобы:

– Ну, что подельваете, пан Бронек?

– Ничего особенного, – пробормотал брат. И тоже белый, как стена, стоит, а губы серой ниткой на лице. – Ничего такого... – повторяет и другим голосом, будто прокашлялся, продолжает. Вот тут у меня в глазах мухи поплыли, как услышала:

– Товарищ Пётр не знает, о чём я думаю? А думаю я, между прочим, про то, что то его счастье, что не дошёл он до Варшавы. Большое в том его счастье.

– А что так? – словно бы удивился Пётр.

– А то, что я собственными зубами перегрыз бы ему шею, – заканчивает Бронек и уходит в дом. А я, как дура, остаюсь с макитрой перед Петром, не зная, что мне вымолвить.

Посмотрел он на меня, а после на дверь, за которой Бронек исчез, и опять на меня посмотрел. Постояли мы немного, покуда я не пришла в себя и не сказала:

– Сами виноваты, – не слушается голос; говорю, а голос дрожит не от страха, а от тоски какой-то. – Никогда бы мой брат первым не стал вам говорить обидного.

– Почему? Правда мне никогда не обидна, – отвечает Пётр. – Обидно было бы другое, когда с двурушником, с Иудой Искаротским пришлось бы под одной крышей хлеб разделять и победы нашего славного оружия.

– Под какой такой крышей, – думаю я, – а он своё продолжает, но как бы про себя уже:

– То и хорошо, что сказал, знать будем... – и в лицо Бронеку, который вышел со струделем. – Не так разве, пан *учитель*?

– Так, так, – кивнул ему рассеянно Бронек и отвернулся. Вижу, смотрит на солнце осеннее и свистит себе, а по руке капля мёда медленно так катится, за рукав бежит. Тут оса закружилась вокруг него. Он отогнал её, достал платок и вытер руку, а струдель на кадушку положил перевёрнутую, в листья дубовые.

Не хочу вспоминать, как ушёл Пётр, что говорил Бронек... На следующий вечер приехал дед. Бронек через неделю забрали. Ну и вот... Петра в Киев перевели в управление работать, а перед самой войной – в Москву.

В коротком просторном полушубке – такие романовскими называли – костлявый, угрюмый, ножницы-ноги, и очки искрятся от снега синевой огненной, за чьей завесой два серых камня-глаза постоянны в радужных силках, вставлены в глазницы надолго, но не навсегда. Подходит, и скрип валенок слышу на узкой тропе, протоптанной мимо дома того – у каждого своя дорога, но у всех одна получается, – ни разу в ворота не постучался, не вызывал, не крикнул, не поднял ворон с голых сучьев криком. Стоял, вперив глаза остывающие, сузив зрачки, во что-то необходимое для того, чтобы видеть не это, что перед ним, а другое. И брат видел его, уверен в том. Вообразим, как отодвигал край занавески и видел привычную с некоторых пор фигуру у ворот. Не раз смотрел, надо думать, отгибая занавеску, к стеклу прильнув, дыханием протапливая наледь, в которой дед появлялся для него, его брат.

За год, прошедший подобным образом, ни разу они не встретились. Дед приходил к дому своего вернувшегося брата не для того, чтобы его видеть. Закономерность его появления перед окнами могла вывести из равновесия кого угодно. Возможно, это было частью стратегии деда – собой выкуривал из норы, себя выставлял – приманка? Да нет же, какая приманка? Злобу, судя по всему, выращивал в том, кто си-

дел за стеной дома; злобу, чтобы из тайной она стала явной. Однако всё равно выходит, что травил, гнал...

Не надо было соваться сюда, – возможно было и так прочесть поведение деда, а сунулся? Ну, что ж, ничего не поделаешь. И почему его принесло сюда, докатило? На родину потянуло? Ведь мог остаться там, где был все эти годы – там ему и быть бы, не умножая собой число нечисти, которой повсюду вдосталь – там мог дожить и не помнить, не знать, и никто не напомнил бы, кому охота? Кто прошлое помянет, тому глаз вон... А тут дед ходит перед окнами, смотрит на дом с таким видом, будто купить хочет, присматривает, что-то в расчёт берёт.

– «Убью», – в первый раз так и сказал мне, когда начало таять.

– «Не знаю когда, но убью».

– «За Бронека?» – решила я спросить.

– «Нет. Но и за Бронека тоже. Чем он хуже других?»

– «Тебе виднее, – заметила я, – Да вон старый ты какой, зачем грех на душу брать? Это им не поможет, из земли не поднять».

– «Помолчи», – нетерпимым он стал к старости, слова возражения не скажи ему!

– «Нужна... ясность», – проговорил он, – «Сама говоришь, что старый, – а до Страшного суда терпения не хватит ждать. И потом – это моё дело. Не суйся».

Дружная весна была в тот год. Таяло кругом ладно, быстро, правда, по ночам примораживало, но со дня на день теплей и теплей становилось. В апреле подули ветры с юга, со степей; сразу жарко стало, земля просохла. На Пасху у людей огороды и сады были вскопаны, деревья побелены, сливы зацвели. Жгли мусор, кто не успел. И тогда я, на пути домой (с базара шла) впервые за долгие годы увидела Петра. Увидела и остановилась, как вкопанная. Что осталось от него! Что осталось... Большой человек, развалина, – замолкала, останавливалась бабушка. – Водянка у него была, должно быть, – голова толстая, разбухшая, как тот кабак чёрный помёрзлый, пальцы – не согнуть, палку не держат, веревочкой палка к руке привязана, а ногами передвигает ледь-ледь, не отрывает подошв от земли. Ох, страшный... Боже ж ты мой, какой!..

– Ганя? – спросил, и в горле у него захлюпало.

– Я, Пётр, – кошёлку у ног поставила, платок на плечи сбросила.

– Вижу, идёт Ганя, – сказал он, – узнает, говорю себе, или не узнает.

– Страшный стал, правда? – улыбнулся он. – И лучше б не улыбался. Не приведи Господь ночью такое увидеть: зубы золотые, губы, как у слона, только синие. – Страшный, – подумав чуть, ответил сам себе.

– Знаю. А нужна мне та красота, Ганя? Одной ногой в могиле стою, а там червяк не разбирает. Съест и такое. Да и

ты... постарела, постарела. – Вот окончил он, передохнул и прибавил сразу:

– Другой тебя помню, девочкой, козой. Сердитая ты была, но хозяйка, спору нет. Что правда, то правда. Хозяйкой была.

– Была краса да сплыла, – я ему на это, – было бы о чём горевать и слёзы лить.

– Ну да, это, конечно, верно... – проговорил он, – и в церковь ходишь?

– Что это вы про церковь? Грехи кортят?

– Ходи, Ганя, – пробормотал он, – ты всегда в Бога верила. Тебе можно ходить. – И палкой в землю стукнул.

– Всем можно, – сказала я и подумала, что идти впору, потому что нехороший разговор у нас получался. Плохого не было в его словах, не скажу, да всё одно – дурной разговор не в словах слышно. А он продолжает своё:

– Хотел бы и я, как ты, – сказал и вздохнул тяжело, и снова: – Говорят, что Бог не только карает, но и прощает? Что попы говорят, Ганя?

– А мать чему вас учила? – спросила я.

– Мать, говоришь? Когда это было! Не упомянуть... Мать, стало быть, говоришь. Да вот так жизнь сложилась, что не одна мать меня учила, много учителей набралось за мою жизнь, а мать... Она бы простила, как ты думаешь?

– Никак вину за собой знаете?

– Безвинных людей нет, Ганя. Этому я научился без помощи учителей. Хорошо, а Савва, например... вон сколько

воды утекло, всякого, сама понимаешь, было, ты седой стала совсем... Вот я как год здесь живу. Скажи, зашёл он ко мне? Навестил? Что он? – и прямо как обухом меня огрел: – Всё вижу, всё знаю – убить он меня собирается. Ну, и пускай убивает. Никогда меня моё чувство не обманывало. Пускай убивает – может, это и есть милосердие. А?

И вижу, заплакал после своих слов:

– Ты скажи ему, Ганя, чтобы он меня не убивал. Ладно? Куда меня убивать, я и так, как на третий год после погребения... скажи, Ганечка, скажи, миленькая.

Кровь мне в голову ударила тут, не знаю, как добежала до двора, и кошёлка тяжёлая пушинкой стала. А там, во дворе, деду – сидел он на орехе, который третьего дня выкопал, – на одном духу и выпалила: так, мол, и так, выбрось из головы, убийца тоже нашёлся, живодёр проклятый! Но только как закричит он на меня – сколько прожили, не слыхивала такого:

– Я тебе слово даю, клянусь тебе, что не позабуду твоих разговоров и на том свете! Уходи с глаз моих прочь, куда ещё держу себя в руках!

А какое там держит... голова мотается, руки ходуном ходят, голову назад забрасывает, чтоб не дёргалась, легче, значит, ему, когда голову назад закидывать, а голова его как тополиным пухом покрыта. Вспомнила слова я Петра, про то, как говорил он, что я поседела, и такая жалость у меня в сердце заиграла, такая тоска, что разорвётся, думаю, сердце,

а этот не понимает, кричит:

– Я твои образа, подожди, геть все на улицу выкину! Я тебе покажу снисхождение и милосердие! Я эти штучки все на память выучил... Я тебе слово даю, что ещё одно слово – хату спалю ночью и не проснёшься!..

Мать Божия, что он городил... я как окаменела телом, шеи не повернуть, глазами одними ворочаю. Вечером помолилась, отошла, и ничего, уснула. И снилась мне оса, вилась она над дубовой кадкой, и я себе снилась молодой с руками красными, как от стирки...

Несколько недель прошло. Дни по весне летят быстро, а тут они как будто остановились. Несколько недель или одна неделя... Ну да, времени не очень много прошло, потому что щепы слив тогда, значит, уже осыпались, яблони в черёд свой зацвели. И первой, как всегда, моя любимая, белый налив, у колодца. Крыжовник давно в листьях стоял, ещё до первой грозы успел распуститься, маленькие ягодки рядами висели уже... Как прибегает утром в седьмом часу одна женщина с той улицы, соседка Петра, – бежит к деду в сад, а он себе там верстак поставил, копается в железках, замках, – бежит она туда и с полдороги говорит ему, а я хорошо слышу, сама не пошла, но слышно чудесно, тихо кругом; вот она и говорит, мол:

«Слушайте, Савва Алексеевич, что я вам сейчас скажу, я вижу, что вы ничего не знаете, а он (про Петра это значит)

пил всю ночь, пил, и песни пел, и кричал жутко, да так, что куры проснулись среди ночи, а потом плакал навзрыд, ей через стену всё слышать было: и песни, и крики, – кричал, в пол стучал палкой, а кричал про вас, что у него, стало быть, брат был единственный, никого не было на свете, ни детей, ни любимой жены, и что всё кругом, кроме брата, для него зола, смиття, но брат тот против него зло замышляет, порешить хочет. И пил пуще прежнего, несколько раз в погреб спускался за вином, это когда водка кончилась, один раз свалился с ног, но поднялся и со двора нёсся скрежет зубовой его. Так что вы, как хотите, но будьте осторожней, сказала напоследок соседка. Он, сказала она, сюда с ружьём идёт, и против него не найти сейчас никакой власти, чтобы остановить, а я вам сказала, и моё дело сторона, потому что, случись, увидит ненароком меня тут – несдобровать мне, а у меня ребёнок, и потому выпустите меня через другую калитку».

Дед кивнул ей, поблагодарил, ответил, что ничего страшного – просто у них всегда так, с детства, с ранних юных лет, примерно каждый год случалось такое. Что же до власти, которой его остановить следует, то никакой власти не надо – человек успокоится сам, жизнь у человека долгая, много у него есть такого за плечами, чем и успокоиться можно, вспомянув то или другое, главное – напомнить. Проводил он её, мне же наказал носа не совать. Сам ушёл в дом и спустя несколько минут вышел снова, держа под мышкой ружьё, а в руке табурет, который поставил на вскопанную грядку под

стеной сарая, сразу, чтобы напротив ворот. Ружьё за спину отодвинул, из кармана газету достал мятую, развернул её на коленях и сел с ней: словно читать собрался, но очки на нём не те, чтоб читать... не проходит и десяти минут, открывается калитка, и Пётр, синий весь с лица, как утопленник, – на палке висит, в живот ему ушла та палка, всем телом её он, кажется, передвигает – в левой руке двустволку держит – явился.

Дед мне опять каким-то голосом, как дверь несмазанная, незнакомым мне, значит:

– Уходи, Ганя, Христом Богом прошу, не пытай меня присутствием своим – не видишь разве, что брат мой любезный пришёл навестить меня!

На что Пётр, услышав слова деда, ещё издали, медленно продвигаясь, с тяжким трудом свою ту палку переставляя, с натугой лютой:

– А что, Савва? Не ты, а я – первым к тебе пришёл! – кричит и хохочет, а потом палкой в тюльпаны запустил, отбросил от себя палку и уже без хохота деду так говорит:

– Сиди, сиди, как сидишь, не двигайся... А я тебе скажу что-то. Не те времена, правда, чтоб я с тобой по-серьёзному говорил, но мы по-шуточному попробуем, здесь места хватит. Так вот, – говорит: – Был ты мне, помнится, братом любимым, а нынче ты никто мне, сволочь, с которой я всю жизнь, не покладая рук, боролся. Эх! Раньше, раньше, Пётр, думать надо было, раньше... Упустил птичку – не поймать

теперь... Но никогда не поздно всадить тебе в утробу, брат мой, полный заряд ненависти! А мог ведь в порошок стереть, как того... Чем же ты мне заплатил за мою верность? Нас было двое – одна мать у нас, двое нас на всём свете было... Готовься, сволочь, тут я тебя своим судом судить буду. Мне терять нечего, сам довёл, сам готовился убить меня, Каин, слабину почуял? Не тот теперь Пётр, думал? Ну, так получай, сволочь! – и поднимает своё ружьё, а самого качает.

Ну, думаю, упадёт в тюльпаны, изомнёт цветы, проклятуший, и тут точно молнией: Матерь Божия – о чём думаю!.. Не понималось мне, что взаправду всё: и ружья, и дед, от которого одни очки в секунду остались на лице, – запеклось, корой покрылось... Нет же, прицелился ещё (скаженный) и выстрелил – как лопнуло что в ушах. Одним махом все окна в сарае высадил разом с рамой – вот какая сила у него в ружье была, но сам не удержался, набок упал, забился, слезами залился горючими и внутри у него кипит, аж мне слышать – клокочет, а он на колени стать хочет, руками цепляется за землю и так кричит, что слова не разобрать:

– Прости, Савва! Хоть кто бы знал, как мучаюсь, хоть бы ты один слово сказал мне, пришёл бы ко мне и помолчал, посидел. Я видел, как ты мимо ходил, смотрел в окна мне! От муки я такой стал, гнию весь, брат... Ты должен знать! Должен! Почему ты молчишь? Если знаешь, почему не отвечаешь? Ганя! Ганя миленькая, где Бог твой, где?!

Стать невмочь ему на колени, валится набок, но ползёт...

Тут дед из-за спины своё ружьё достаёт, кладёт газету на колени и, не приподнимаясь с места, в Петра, который почти что дополз к нему, – из двух стволов сразу.

От головы кривая чёрная стенка осталась у Петра, мокрая...

– Мама, перестаньте, тошнит!

– А к ней припеклась какая-то красно-розовая куча курчавая, в пузырях... Даже не простонал, нечем было. Хлюпнуло в нём пару раз и замолкло. А потом...

– Прекратите, мама, это ужасно! Ведь дети слышат, они не спят...

Или в другой раз – тише, настолько тихо, что само по себе крадётся неуловимо повествование, но уже вовсе туманное, неизъяснимо зыбкое, в течение которого, плавном и тихом, яснее всего весна отражается: цвет вешний, лепестки на ветру юго-восточном, со степей, где холмы, холмы, склоны с убитой, скользкой травой.

В конце сада тоже трава росла, но иная, ничем не похожая на вольную траву холмов. Была она редка, водяниста, хрупко-высокая, хилая. Кое-где рос кипрей, отмечая розовато-лиловыми цветами места полного запустения. Лопухи, кустики у столбов забора светлого щавеля, вперемешку с подорожником, жёсткий волокнистый лист которого при нужде надо было прожевать в кашу и залепить ею содранный локоть, когда с дерева неловко сползёшь – спиной или животом, ощущая кожей каменные завитки коры.

И неуследимо в белой шершавой ссадине, посреди смуглой выгоревшей ткани, как бы со дна глубокого, точная капля, даже островерхая какая-то, всплывает, растекается, бледнеет, сочится затем множеством мельчайших капелек, умножаясь в тёмное, темнеющее от того, что кажется, гуще кровь становится от солнца, – выпуклое пятно.

И тогда провести пальцем, по всей руке или животу, и тон-

чайший коричневатый след оставить, сухой след, но из глубины ещё прибывает эта удивительно-волшебная влага, которую не сравнить ни с чем. Очень медленная на вид, тяжелая, лишённая какой бы то ни было прозрачности.

И смола на черешнях старых прозрачна, втягивает зрение, различающее внутри её застывшие трещинки, янтарные волоски, завихрения, медовые волокна, прожевав которые, исполняешься необыкновенной душистой горечи – это всё сад, это и трава, и деревья, и дом в деревьях, побеленный тщательно весной – немного голубоват, отдалён, прохладен занавесями, пахнущими стиркой, ветром, некой свободой, которой то больше становится, то меньше – в зависимости от неба, родителей, времён года или когда случается что-то совсем непонятное, например, ангел, сидящий на сливе в тех местах, где и трава худосочна, и лопухи, и щавель, и пень от липы громадный, источенный короедами. Пень-полис, в недрах которого неустанно кипела жизнь муравьев, солдатиков, в мягких трухлявых складах которого, за отставшей корой, в коричневых углублениях белые личинки покоились, похожие на мумии, будущих муравьев.

Полуденный край запустения, а вечером начисто забывали об этом месте, как будто его не существовало, – трудно представить было, как может такая тишина по дню накрываться тьмою, становясь ещё тише, не слышной...

Светлый щавель, одуванчики горькостеблистые, кипрей

отцветший; и за досками забора, в чужом саду – боярышник, ветви которого тянулись ввысь и с каждым годом становились сильнее, покуда не смешались вконец с сиренью и страшно разросшимся шиповником. И шёпот делал стальной нить:

«А-а-а-а-а... свихнулась баба!» – гнал нас тревожно сюда, как воду, рябью, бичом шёпота гнал.

Однако, отец, усмехаясь своему чему-то, уступая нашим уговорам, – выбрали подходящий момент, после обеда... благодущие, мушиный рой изумрудным звоном оплетает стены дикого винограда, воздух слепит трепетно.

На второй день, кажется, согласился взглянуть на то место, но когда его вечером мы спросили, – весь день на реке провели, – видел ли он что-нибудь? – ответил, что, к сожалению, ничего не смог увидеть, так как не дошёл, у колодца задержался. Яблоня обломилась, пол-ствола отошло, и пришлось вернуться в дом, потом варом заливать, рогожей обматывать, подтягивать, как бы не рухнула совсем – жалко ведь, дерево хоть и старое, но родит рясно, терять не хочется – живое как-никак. Подумать только пол-ствола отошло... – а там и забыл за делом: пока нашёл рогожу, пока обрезал обломанные ветки, что, конечно, не следовало бы делать, и вообще хватит, достаточно на эту тему, неужто непонятно, что мать не одобряет, раздражать её не стоит, и довольно, словом, всё тут. Безусловно, бабушка не смогла удер-

жаться и чего-то недовольно пробормотала, а мать из-за стола – похоже, что только того и ждала, с нарочитым безразличием кроша кусок хлеба возле тарелки:

– Сумасшедший дом. Типичный сумасшедший дом. Нет, вы только подумайте, старая, неглупая женщина, а вот такое изо дня в день слышать – нет никакой мочи... Кондрат, ты слышишь?

На что бабушка:

– Гляди, накаркаешь!..

Вот тут мать вскидывается по-дедовски, вспыхивает, не выдерживает:

– Думайте, что хотите, но за язык вас никто не тянет. Детей постеснялись бы! – добавляет несколько другим тоном и тянется рукой к середине стола, где коричневый кувшин стоит с тюльпанами, поправляет их, перебирает, проливая воду на скатерть.

– Нет, кто бы подумал, что я буду жить в типичном сумасшедшем доме... – как бы про себя, точно повторяет недоумённо чужие слова, стараясь найти в них смысл, – повторяя медленно.

– Перестаньте, – на миг вступал иной голос, пресекая её, начинавший было возвышаться, – негромко сказал отец, даже тихо.

И бабушка не то чтобы обернулась к отцу – осталась вроде бы неподвижной, голову поворотила испуганно, и мне её

профиль с надменным прищуром виден из-под платка в цветах, в маках, мальвах – какого-то цыганского платка, а тут в мочке оттянутой ещё плоский золотой круг покачивается, прядь выбилась, и у матери брови поползли вверх, а дед ещё ниже к тарелке с супом остывшим, крупинки отлавливая холодной ложкой, ещё ниже лицом резко упал, под стать слову, прозвучавшему столь неожиданно со стороны отца, которому, казалось, давно на всё рукой было махнуть, – вот отчего не вмешивался в разговоры.

Случалось, поддразнивал иногда то меня, то мать или злил меня, доводя до слёз, но ни Сони, ни бабушки с дедом не трогал. Любезно и пусто рассматривая их голубыми выцветающими глазами, а когда накатывало, становившимися вовсе ясными и светлыми к осени, к тому времени, что волновало его неустанно каждый год.

Вот выбритый до блеска череп приобретает глубокий цвет от солнца и ветра, под глазами выгоревшая кожа, пролегая бледной золотистой белёсостью, как бы припылённая, – всё покрывалось нежным тонким прахом от дувших на исходе лета азиатских суховеев – в отличие от остального лица, головы, тяжёлых кистей, оканчивающихся недлинными крепкими пальцами с ухоженными ногтями, – на одном из них тускло отсвечивало тонкое серебряное кольцо, и когда брился, оно словно наливалось язвительной силой, зеркальностью совершенной бритвы, зажатой легко и привычно в четырёх перстах, – скользящей немо над головой.

Однако поразило вовсе не то, что вмешался он. Порой случалось и такое: кривя тёмные губы, собирая морщины у глаз, как бы вглядываясь в произносимое – о, пристальность говорящего! – не осуждал, не превозносил, скорее всего, замечал, оговаривал нечто, облекая это нечто в форму нарочито абсурдных предположений, вплоть до гримасы. С дедом, слышали мы, он вёл себя по-другому – тише говоривших – произнёс, как взвалил, и должны были все почувствовать горячее дыхание в покойном воздухе летней надвигающейся ночи – палящий выдох.

Как ни странно, обескуражило не это – грусть, прозвучавшая в его голосе, непривычная нам, – вот что! – потому как неписанным законом, давним, древним установлением (задолго до нас, разумеется, задолго...) не позволялась она, считалась чем-то недостойным, унижительным, как бы грехом считалась, поскольку неприхотливо-скудная истина, положенная во главу угла, гласила: радуйся, ибо это всё, что ты можешь сделать здесь, а не можешь – найди в себе силы не сетовать.

Замёрзни, остынь, закрой глаза, пропади пропадом, но ни слова сожаления не должно упасть с твоих уст, даже наедине с собой – вернее ярость, гнев, брань, безумие, но не печаль – что она, спрашивается? Тень она от чьего-то чужого неземного тела, враждебного, страшного?.. вестник она? И вот она

ВХОДИТ В КОСТИ, В ЖИЛЫ, СУШИТ ИХ, И ТЕЛО САМО ПО СЕБЕ УЖЕ
ВЕЩЬ.

Много лет позже, беспрестанно вытирая тем же цыганским платком глаза, нащупывая моё лицо руками, как бы отыскивая ответ на нём, ища подтверждения и своим словам, и пальцам, и уверенности во мне, бабушка тихо поведаёт о последних днях отца, которые начались задолго до смерти, расскажет о его глазах, о том, как таяли они у него на лице, о том, как весь высох и превратился в ребёнка – так что без труда мыла она его, переворачивала, обтирала... когда он отказался ото всех и лишь её мог видеть спокойно, с ней мог спокойно лежать, папиросными веками, хрупкими лепестками плоти укрыв истомлённые зрачки, видевшие уже то, что никому не было доступно, разве кроме него и бабушки. Крючконосая темнолицая старуха с требовательными беглыми пальцами на высыхающих руках, она была моим психологом, которому чужды были вполне уже и скорбь, и веселье, потому как перестало существовать то, что нуждалось бы в них, вот так как-то, а если не так – кто поверит?

По бритой голове провёл отец ладонью и вышел из-за стола. И дед, помедлив малость, тоже поднялся, к порогу пошёл, к выходу из дома прочь, вон... зашёлся по дороге кашлем, долго спиной стоял, лопатками острыми двигая под рубахой, а на воротах – ни единой пуговицы.

И повечерье надвинулось на нас неведомой доселе печалью, проникла печаль в дом... зачем только? – тихий ветерок из черневшего проёма, где дед стоял, сотрясаемый мелким сухим кашлем курильщика, препоясанный на узких костлявых чреслах залоснившимся чёрным ремнём. Неторопливый ветер из чёрного проёма, походивший чем-то на мучную вязкую ночную бабочку, – долго уже толклась по стеклу, то косо сползая вниз, сыпля мягким треском крыльев, то взлетая глупо к потолку и падая оттуда на скатерть, где кружилась с шорохом слепым на месте, и затем в окно стремилась, за которым бился, летел к которому, волна за волной, безмолвный ночной поток мошкары, серебристыми тучами клубясь под лениво освещёнными ветвями, – из окон свет падал.

Зелёным сырым волокном обволакивала ночь, тронутая как бы невзначай светом, истекающим из дома.

Привыкнут глаза к нефритовой темени, схлынет воздушный хрупкий сор пядениц и совок – сладчайшей муаровой волной прошуршит в узловатых пустотах древесных теней, опадая с едва различимым стуком на крашенный суриком подоконник, но и он чёрен влажно, как и всё, что пролегает дальше; привыкнут зрачки, шириться начнут, растекаться, исполняя глазницы тишиной омута, проросшего бархатом зеркала, и почему-то духотой приторной, густой потянет, как на Троицын день, когда полы по щиколотку засыпаны высушающим татариннем, увидишь сквозь хаос замёрзших земных превращений, в снежно-ослепительных тенях –

узришь звезду одну, вторую и там ещё одну... и до чего тогда ужасной в своей приближённости покажется черта крыши, косо пронизывающая некой безусловной верностью линии ветви, да и они сами явственной гнетущей ненужностью предстанут, как и то, что было неотделимо от дневного размеренного порядка: стена, мерцающая известью, словно вымытым в росе голосом, серебристый ствол ореха, а внизу под ногами, мельком – то, близость к чему необъяснима и может довести до непонятного алчного плача (когда рот ровен, не щербат в рыдании, сложен спокойно), – там высохшие черешки, ветер их сбивает день за днём, вишен косточки заскорузлые, иссохшие, поклёванные воробьями; забившееся под скамью яблоко – беглец, обозначенный преждевременным тлением, сморщенными топкими болотцами гнили, и обгоревшая спичка, и стёклышко от фильмоскопа, слабая исцарапанная линза, скучная, брошенная на произвол судьбы, с вкраплённым в рыхлые соты железным камешком вялого венецианского перечисленья – (лагуна розовата, вскипает солнце у гибких песчаных корней, лебедь гипсовый, плоскости иной жизни).

– Соня, где это?

А это? Это правда? – жирная угольная сажа и мокрые, крепко выжатые облака, или Китай) – бесполезная и скучная стекляшка, а было: часами на прямом огне мартовском высиживали, направляя волшебный лучик радужный, связан-

ный из пылинок, частей их, – тепла, на детское сукно зимнего пальто (и вкус кашля, как раскрошенный шоколад среди пряностей в буфете...), предчувствуя с тайной усмешливой жестокостью быстрый вороватый стебелёк синего дыма, который вырывался в воздух безветренный, оставивший, наверное, навсегда в моей душе – можно сказать в сознании, но опять-таки: какое сознание тогда? лишь предошущение его – фарфоровый оттиск, рядом вот этих бесчисленных стебельков дыма, вырывавшихся из суконных недр, где погребены до холодов, сродни личинкам бабочек, жуков, крохотные тела кашля и отвращения.

– Что вы здесь делаете? И кто вы такие?

– Мы ожидаем появление саламандры или что-то ещё, подобное неуследимой птице дыма, взмывающей из желтоватых точек, оказывавшихся при более тщательном рассмотрении кольцами, мельчайшими кратерами, извергнувшими невидимые окончания пламени и, конечно, не из одного дыма, не только из следов огня стена, но также из безветрия, найденного потом невзначай, походя и находимого ежечасно и случайно под ногами ночью во всё тех же высохших черешках, стёклышке, пуговице, в яблоке, подгнивающем где-то в укромном углу, в соломинках по-нищенски сырых, утративших свою хрустальную медовую жёсткость – это, как в ливень покровы небесной безыскусной воды разъярённо пеленают тугими потоками и волосы, как водоросли, беспокойны в течении – струятся долу с водой вместе, не задерживаясь

ни на миг, но, между тем, ты как бы навсегда в них, по крайней мере, покуда льёт и грохочет в глыбистом, изломанном изумрудными сполохами молний вверху, покуда не укрылся, поднимаясь на холм, много их окрест, одинаковы они, но поднимись, взойди – такое укрытие выбери себе: холм, на вершине которого можешь начать беседу с ветрами.

И как потом высыхают капли на плечах и спине, и руках, и лице, в глазницах рябь брезжит озноба – так одна за другой появляются звёзды, с упрямством истовым путника возникая, которому спешить некуда, – хрупкий инструмент неведомого геометра отныне он, разум чей легко и беспечально, в самом начале, растворился в несметных колебаниях, и вот теперь оно: и тело, и земля под стопой, и воздух – маятник, коса жалящая, мера чего-то...

И вскоре небо оживает. Расширяется перл зрачка темнолобый. Двигается и оживает чудесный гиматий, скрывающий за миллионооким и безмятежным подчас горением, а иногда за бесноватым свечением, вихревым, тревожным, подлинно огненную тьму лица Того, кто в оцепенении, должно быть, взирает на самую непонятную пустоту – нас, окружённую стенами одежд, деяний, слов, чаяний, проклятий, – нас, восхищенных навсегда прелестью земной, и кому, выпрямив устало оплывшую спину, сжигая поленья шёпота еженощно, молится гордо бабушка. За нас разве? Может быть, может быть... За себя? Вряд ли.

Что она теперь самой себе! Не ветвь цветущая, не вода бегущая, не песок текучий, горючий, изглоданный временем.

«О-ох-х! – смеётся она тихо, тугие, прихотливо изувеченные ладони прикладывая одну к другой. – Охо-о... Немного моего веку осталось. К Аврааму на пиво скоро».

Повторяет часто, чаще натываемся повсюду на негромкий смех, как будто оставляет его во всех углах, а сама отдельно, в сорочке новой, с косой, чисто заплетённой, босиком – отдельно, и повсюду лиловые безлиственные кусты похрипывают: «На пиво... к Аврааму... скоро». Когда?!

А кто такой Авраам? Не тот ли, кому сказано было: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома твоего»?.. Нет. Конечно, нет. Почему-то образ его связан, слитен с неким, как именовали его, Абрамом – в смрадно-зелёной борде, восседая на передке скрипучего, некрашеного, крепко сбитого длинного ящика с крошечным решётчатым окошечком сзади, грозившего ежечасно перевернуться; с кнутом, подъятым в одной руке, вторая на булавке, пустая, рукавом приколотая к плечу, с глазами, полными слёз язвительных, солнечных, – пересекал на слабых он колёсах городские чахлые просторы, двигаясь воистину с какой-то ветхозаветной неумолимостью.

И такими же, довременными были ликующе-скорбные вопли и крики прохожих; стучала гладкая костяная жердь с ременной удавкой на конце о крышку ящика, вой и визг

глухие из которого, лай, – с него, чудилось, живьём содрана шкура – и такие же комья земли – рыхлые и липкие от дождя, летевшие вслед, или накрепко спекшиеся, под стать каменной соли, когда сушь.

Вовсе неудивительным казалось поэтому, что именно с ним свяжет свою судьбу бабушка после кончины. Что-что, а тайный смысл её слов мы понимали без труда. Пиво также представлялось довольно легко – стоило мысленно соединить расплавленный молодой мёд с горечью английской соли – домашняя панацея, – произношу – как приятно было смотреть на беззвучные отсветы, бегущие по скатерти, отвращая мысль о горьком лечебном запахе, а он, в свою очередь, сопрягался с неким, из смутной мглы (за окнами снегу надлежит быть, ещё не осевшему, бесплотному, скорее, не снегу даже, а свету, ублажающему день, а до того – утро под землёй) ароматом тмина, сушёных слив, вызывая во рту вкус вовсе непостижимый горячего воска (на пасеке так, куда брали нас, выжёвывали кислые зёрна, нет – не сладкие, но и сладкие, хотя почему-то при этом возникала обструганная свежая палочка, погружённая в муравейник), пронизанного искрящимися нитями, когда пиво вскипает пеной из смольного горлышка: и, наконец, всё вместе уже принимало странно-больной облик пыльного дня, отравленного множеством глаз, упрятанных повсюду: кнута в заскорузлой нечистой руке, воздетого в тёмную синь детских небес, гортанного цоканья, ящика, в котором колыхалась бескостная музыка ужа-

са, а потом – густо, вязко просачиваясь, капало несколько капель рыжей пены – бабушка, её обескровленный смех – сползали по каменному ободу лживо вращающегося колеса, и теребил пену ветерок, теребили её эфиопские тени непомерно разросшихся клёнов вдоль сухой, как весенняя простуда, дороги, а там, вдали, уменьшаясь, и тут, рядом, у некоторых, стоявших спокон века, дребезжа фанерными мишенями, шляпы в руках несминаемые – перспектива тщательно отмыта сужением, – у кого на голове без изъяна посажена; некоторые указывают на север, некоторые направляют руку к земле, третьи спиной стоят, облачённой не по сезону в добрую старую кору сукна безо всяких украшений, разве что алая капля божьей коровки на плече, приподнятом подложной ватой... так ведь она улетит сейчас вот и чешуйки расправляет – «к Аврааму на пиво», – тихо смеётся она запавшими губами.

Понимает ли, что говорит в упоении своём?

Не спрашивай, не задавай бесполезных вопросов. Никто тебе не ответит на них. Как знать, как знать...

И кажется так:

«Ночь смертная мя постиже неготова, мрачна же и безлунная, препущающи неприготовлена к долгову оному пути страшному... Да спутешествует ми Твоя милость, Владычице. Се, вси дние мои изчезоша воистинную в суете».

Да... Так, не иначе. Не нам вести счёт дням исчезнувшим.

И в доме преобладала суета, обращавшаяся, думается мне теперь, в итоге труднообъяснимым смыслом нашей жизни, вопреки другой, – длящейся там где-то, за рубежами любимых, ныне звучащих только в бездонных скважинах слуха голосов, украшенной гипсовыми изваяниями вождей (чьи сапоги, тоже белые, гипсовые, ближе всего были нашему взору) или туголикими спортсменками, отставившими назад одну из слоноподобных лядвий, а в руке, в зависимости от строения: то весло, то обломок, то планер, то совсем уже непостижимое индустриальное колесо с выложенными зубцами, на месте которых торчала непременно ржавая проволока остова... да, там где-то, за порогом, не тут – там, где выморочность достигала воистину границ идиотизма, высочайших вершин хронического бесстыдства...

Гипсовая империя, гиньоль – лишь единожды в силу неких неисправностей пресловутой машины, являющей богов, приоткрывший рытый в шитье парчовом занавес и (как то обычно случается, не остаётся места даже для злорадного хохота, хохотка) именно в тот самый момент, когда на сцене ничего нет: ни рук, прижатых к сердцам, ни лиц, перекошен-

ных непосильными голосами, ни зияющих ран, откуда местами непрестанно сочится клюквенный сок с минеральной водой Боржоми, местами то, что на сок столь похоже (поди, значит, разберись сам), ничего, кроме огромной выгребной ямы, а тут к тому же и благотворный ветер, веявший над головами восторженных зрителей, оказывается на поверку зурядным трупным запахом, застойной жирной вонью учебников по судебной медицине, а затем, точно по мановению волшебной палочки (излюбленный кинематографом приём), появилось в изобилии (привычное слово, любимое, желанное слово) то, что источало сладковатый аромат – за каждым углом, в каждой спальне, на дорогах, пляжах, заводах, за спинами, по обе руки и слева и справа, в кустах общественных парков, на лужайках несметных литературных гоноров, – обретали черты те, кого, оказывается, давным-давно не было, кого давным-давно позабыли.

Иные, полудожившие, с пугающей виноградинкой безумия в пополневших глазах, с весельем странноватым разводами по голосу, дождались, но, безусловно, больше было тех, от которых остались одни имена, так сказать, поэтический материал...

И что говорили нам эти имена, что могли сказать бесконечной чередой следовавшие Ивановы, Сидоровы, Петровы! И было их так много, что само действие извлечения их из смрадных ям, которыми тотчас, как-то сразу, стали опреде-

лённые географические названия – вскоре наскучило, утомило, обратившись в незамысловатую математическую операцию, но в первый день, когда многие не отрывались от газет и радиоприёмников, просиживая в папиросном дыму, окаменев до вечера, – дед к отцу подошёл.

Холода уже наступили или ещё держались – не помнится точно – возможно, наступала медленная весна, однако казалось и кажется теперь, что дело шло к зиме, ведь, судя по всему, времена года следовали друг за другом в своём порядке, о котором где-то кем-то упоминалось, и потому, скорее всего, дед к отцу подошёл, когда встали холода. Вот и ватник на плечах у него, придерживаемый одной рукой, чтоб не свалился. Он брил голову на крыльце перед зеркалом – это преддверие зимы, утверждаю я, – спокойным, налитым до костяных краёв пасмурной сыростью низких времён. Дед, не всходя на крыльцо, с вопросительным выражением протянул руку, проговаривая что-то.

Отставив бритву докучливую, узкое крыло, залепленное белым илом в серых оспинах, глядя вверх над собой, на чертивших птиц, ответил:

– Псы, – сказал.

– Грязные псы, – повторил он и наклонил голову, словно почувствовал любопытство к тому, что говорит. И продолжил:

– Были псами и останутся псами, Савва Алексеевич. Псы шелудивые, – несколько раз повторил он, как бы прикрепляя

намертво свистящее слово к тишине, не отводя глаз от птиц, распластанных, потаённо-бесшумных, губы языком облизнув. – И слышать не хочу. Ни слышать, ни видеть. И запомните, что ничего не изменится. Псы останутся псами, а кому как не мне... сук люб им, кнутом поперёк хребта! Относительного остального...

– Да, вот что касается остального, – скажу вам: урок усвоен твёрдо. Ничто так дёшево не обходится, как тюрьма. Ммм... Прибыли баснословные, – уже немного холода в голосе выросло, но: – А это? – дёрнул бритвой по воздуху в сторону. – Это? Ещё один труп выроют из могилы, ещё один побьют камнями, по клочкам растащат... Известное дело, собаки!

В доме, повторяю, преобладала суета. Но ею, обращавшейся в средоточие жизни, её ликом, неизменным на самом деле, вырезанным как бы из тёмных, прекрасных тяжестью своей растительной, глубинной пород дерева, – мы наполнились до срока, до времени иного, какого ждёшь в тумане слабых немощных представлений, будучи ребёнком, однако ждёшь, предчувствуешь – и останься, я думаю, в ту пору без этой «суеты», в которую, несомненно, входили и слова бабушки, и надменная отрешённость деда, и отцовская, до сих пор не понятая, презрительная любовь, и обособленность, болезненная гордость матери, останься я без этого – смог бы разобрать истину в смрадном и гордом бормотании моего

блистательного великолепного друга Герцога Кентерберийского?

И впрямь, вправе ли назвать я суетой не имеющие конца и края хождения, передвижения, приготовления еды, пробуждения, роящиеся мелочи и книги, книги, безусловно... и пустые разговоры, а стирки, например, одно это: собирать зимой, обжигая руки в сумерках, залубеневшее благоуханное бельё, ледяное полотно, шелковистый замерзший лён, хранящий потом ещё долго день, ночь, день, ночь тончайший дух снега и ветра в смешении с ночным телесным теплом!

А бритвьё отца? – ставшее к нашему времени сложным ритуалом – резко вырезанной, протравленной цифрой в уклончивом кругу других дел. Вправе ли я назвать всё это суетой?

И вот теперь ещё одно: цветы дневные и ночные, петунья, циннии, маттиола, шиповник, а у нас говорили – «шепшина», боярышник, слюдяные крылья бессмертника, настурция, учившая глаз синеве своей ясной алой тишиной, нарушаемой разве порой что шершнем бело-опоясанным; а табак, с которого, чудилось, срывался ночной ветер, рождался там в вялых, сморщенных, голенастых, бледных по дню стеблях, но и подсолнухи – вполне разумные создания, большеголовые, коронованные кипящим белым цветом, не жёлтым... даже чёрным или белым, и муравьи, их мурашья сверкающая свежесть, кислота расколотого на зубах незрелого крыжовника, стручки акации, а потом деревья, извиристо на-

поминающие тяжкий сонный свет, небо, когда горькое, когда тягучее, заселённое такими чувственно-осязаемыми, до зуда на ладонях, облаками, – не продолжение ли это всё той же суеты?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.